

**#1 ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО И УГРОЗЫ БУДУЩЕГО:
ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ ДВИЖЕНИЯ СЕГОДНЯ**



Все материалы первого номера были опубликованы на сайте в течение октября — декабря 2017 года.

Редакторы:

Влад Гагин

Кирилл Александров

Алексей Боровец

Илья Семёнов

Верстальщик:

Руслан Князев

- 5 Я мечтаю стать киборгом и жить вечно в галлюциногенном электронном мире
- 23 Опыт трансязыкового знакомства
- 28 Кожа (1)
- 39 Художественные лаборатории конструирования новой политики
- 46 Левые или правые: кто победил по итогам XX века
- 57 Социализм как личный опыт
- 66 «Логика геополитического пациента...»
- 90 Какая разница, какого цвета у тебя шнурки?
- 103 Biji bijî kurdistan
- 110 Партия мёртвых: слева или справа?

Вступительный диалог, в котором редакторы попытались разобраться в том, что такое левое и правое, разделить политику и социальную деятельность, а также сконструировать технологическую утопию будущего.

ВЛАД ГАГИН: Для начала, наверное, неплохо бы определиться, насколько наша тема актуальна в принципе. Мне много раз приходилась слышать, что уже нет никаких правых и левых, а то, что чуваки собирались так в парламенте несколько столетий назад, ничего не значит. Плюс — у обоих флангов сформировалась некая своя догматика, мешающая осмыслять современность и действовать в ней. Многим кажется, что нужно быть гибкими, брать что-то и от левого, и от правого. Не знаю, насколько это действительно так, а насколько такие разговоры являются следствием политической робости. Лично мне кажется, что «правое» и «левое» — это какие-то довольно прочные и еще не до конца изжившие себя матрицы, которые, да, усложняются внутри самих себя, и поведение человека, его этическая стратегия, всё равно странным образом в определенную матрицу вписывается, как правило. А значит, и есть предмет для разговора.

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВ: Здесь есть ещё такой важный, на мой взгляд, момент, который мы, кажется, с тобой уже обсуждали. Одно дело — когда ты совершаешь некий осознанный выбор и те или иные идеи принимаешь, таким образом свою позицию в политическом поле занимая/обозначая.

А другое — когда ты, о конкретных этических стратегиях не задумываясь, просто формируешь своё отношение к происходящему, самостоятельно на возникающие вопросы отвечая, а потом вдруг оказывается, что ты, например, «левый», потому что снаружи есть некий наблюдатель, который тебя таким образом маркирует. И вот левизна ли это на самом деле?

ИЛЬЯ СЕМЁНОВ: Кирилл, мне кажется, затронул очень важный момент: у меня тоже есть ощущение, что эта принадлежность как будто некоторым образом навязана снаружи, извне. То есть любой человек, не наделенный существенной властью, оказывается левым, ратует за равенство, потому что сам чувствует в нем необходимость, ощущает себя обделенным в некотором смысле. И наоборот — тот, кто властью обладает, должен свое право на эту власть оправдать, провести границы между собой и другими, а значит, качнуться вправо.

ВГ: Сложно сказать. По-моему, тот же Петр Рябов всё время говорит, что многие люди являются анархистами, даже не зная об этом. Думаю, тут речь идет о какой-то идее анархизма, призрачных принципах,

но не о самом движении с его контекстом и историей. Где проходит граница, которая определяет, когда нерелефлексивного о политике человека можно записать в тот или иной лагерь, а когда нет, неизвестно. Забавно, что в то же время он говорит, что также есть много людей, которые называют себя анархистами, но сами не являются ими.

То есть ты думаешь, Илья, что «левое» — это обязательно позиция вне власти?

ИС: Мне кажется, что так, да. Очень банальный пример, но всё-таки я его приведу: левая революция в России очень быстро вылилась в диктатуру — причем отнюдь не пролетариата. Я не специалист, чтобы однозначно оценивать сталинский режим, но у меня есть ощущение, что левые режимы должны выглядеть как-то иначе. Мне кажется, сама идея власти — правая идея, идея разделения.

ВГ: Я в последнее время часто об этом задумываюсь. Получается, что когда мы говорим, что мы левые, мы имеем в виду что-то своё, то, что нам нравится, а про тот же советский проект говорим как про псевдольевый, левый не по-настоящему. Но нет ли в этом опасности? Я о том, что посылки, на которых строился новый советский мир, были в целом хорошие (для левых, которые больше ассоциируют себя с большевизмом, а не, например, с анархизмом), но как будто что-то сломалось, пошло не так. Так вот, может, не что-то «пошло не так», а изначально люди что-то неправильно делали, и «левое», раскрываясь, обнаруживает в себе то же

репрессивное начало, что и правое. И в этом смысле, наверное, уже стоит говорить о каком-то определенном варианте левой политики.

ИС: Я думаю, левое подразумевает нечто за горизонтом политики, за горизонтом самого человеческого, постулирует некие идеи, которые не могут быть реализованы до тех пор, пока человек останется человеком. И в этом смысле сращивание человека с технологиями может привести к этой самой настоящей левой революции киборгов, прозрачному миру. То есть чрезмерное правое давление — необходимость властей знать все обо всех — приведет, в конце концов, к прозрачности и равенству, потому что этот глаз, глядящий в нас, обернется и будет глядеть еще и в себя — сделает всех одинаковыми перед миром, раскроет глубинное равенство, которое мы не можем вынести, которое противоречит человеку как таковому.

ВГ: Интересная теория. А правое — это, по-твоему, что-то очень простое и человеческое?

ИС: Я бы даже сказал, четкое. Читал в одной научно-популярной книжке про эксперимент на очень маленьких детях, которые еще совсем не умеют разговаривать. Им там показывали спектакли в нескольких частях. В первой делали так, что они опознавали героя как своего, причастного, а дальше, даже если он делал что-то не очень хорошее, дети всегда оставались на его стороне.

Я об этом примерно.

ВГ: Кропоткин, кстати, как раз наоборот говорил о склонности человека к солидарности и альтруизму как о чем-то естественном. А я, если честно, уже перестал понимать, что в человеке природное, а что социальное, что человеческое, а что нет. И в итоге мне свое поведение приходится из каких-то других оснований выуживать, наверное.

И если левое — это не человеческое, то откуда оно берется? Просто я не до конца понял, что для тебя является нечеловеческим и что — человеческим. Я не уверен, что это можно так просто расцепить, скорее про какую-то корреляцию говорить приходится.

ИС: Все очень примерно, но мне кажется, левое — это нечто действительно желательное. Это как демократия — все ее костерят, но выборы все равно проводят даже в самых мрачных режимах, это легитимность, это разрешение жить. Упрощая: если я говно, то почему я живу? Левое — это не говно, это нектар цветочный, сладость и милота.

ВГ: Ага, я думаю схоже, но это меня и пугает в какой-то степени. Получается, ни больше ни меньше, борьба добра со злом. А это довольно пафосно и не так, как в жизни обычно бывает.

ИС: По-моему, совсем не похоже. Это условно. Когда хорошее — недостижимо, какой в нем толк? Его же не существует в реальности. Это вот — за горизонтом, счастливое завтра.

ВГ: Забавно, что левых всё время обвиняют в утопии, да и сами левые часто строят утопии. О правых,

кстати, можно сказать то же: какой-нибудь образ государства порядка или сильной великой державы. Правда, эти образы всегда как бы отвернуты от современности и от будущего, хотя и вроде как обращены к нему.

А левые теоретики часто пишут, что нет, мол, мы не утопичны, а говорим про что-то конкретное здесь и сейчас — про те проблемы, которые нужно решать сопротивлением и другими методами, но от утопизма это их не спасает. Возможно, и к лучшему.

ИС: Тут я бы рискнул зарегистрировать очень странную, но положительную для нас вещь. Правая утопия — это такая утопия, все действующие лица которой осознают ее невозможность. Это родители, которые говорят тебе: «не кури». А сами тихонько курят на кухне. Левая утопия — это утопия, которая постепенно может оказаться реальностью, у нее другой источник: «я не буду есть мяса (ну, например) и за свою жизнь спасу сколько-то коров» — это звучит очень глупо, но может сработать (вот тоже сейчас выгляжу утопично, хотя ведь работает кое-где: в действительности мы сильно двинулись в сторону общих прав, того же голосования и так далее). То есть мир, качнувшись вправо, качнулся влево.

КА: *«В правильную сторону».*

ВГ: Меня пугает в правом именно что вот эта охранительная интенция: а что, если город заполонят мигранты? а что, если с приходом технологий мы станем киборгами, мутантами, дебилами? Такое чувство,

что мы сейчас живем (или раньше жили) в раю, и есть возможность к этому золотому веку вернуться. Но, наверное, это просто незнание истории... Или другое что-то? Как бы там ни было, я не против того, чтобы стать мутантом.

ИС: Да! Я мечтаю стать киборгом и жить вечно в галлюциногенном электронном мире. Левое как будто смотрит вперед, и это воистину завораживает.

КА: Друзья, мне кажется, слишком идеализировать левое тоже не стоит. Ведь отсутствие иерархичности, самоорганизация, отказ от собственности (или просто более гибкое к ней отношение), необходимость выстраивать быт так, чтобы все одинаково в этом участвовали, т.е. всё то, к чему призывает анархизм, например — это на самом деле очень сложно с практической точки зрения. Мы сами вряд ли готовы к тому, что всё надо будет решать самим, без институций, что никто наверху за нас ни о чем не договорится и ничем не обеспечит, гарантий будет меньше, и в целом никто не знает, чем эта сказка обернется. Маятник и вправо обратно может качнуться вполне.

Если про детей продолжать, то «Повелитель мух» вспоминается, где мы помним к чему пришли герои в итоге.

ИС: Боюсь, что может, и мы видим это сегодня, в России уж точно. В этом смысле — единственная надежда на просвещение, как бы пафосно это ни звучало. Потому что просвещение рождает, как мне кажется, недоумение, нерешительность, но не дурацкую, а в хорошем

смысле: нерешительность карать, она же — желание избавиться от тех, кто карает, отстаивать свое право на то, чтобы жить. Выглядит несколько запутано, но все так.

КА: Кстати, пока тему технологий не проскочили — а ты уверен, что за счёт них мы именно к свободе новой придём? Я пока вижу, что скорее в какую-то воннегутовскую антиутопию всё движется, а не в сторону условного «Боло-боло», о котором не раз в анархистском сообществе слышал (с тем же Ларсом об этой книге говорили).

ИС: Для меня важно, что мы придем к чему-то качественно другому. Прозрачные антиутопические стены — это же тоже в некотором смысле свобода, если они у всех такие.

ВГ: Да непонятно, куда придем. Технологии — это не что-то хорошее или плохое, важно то, как мы их используем, к чему подключаем. Мне кажется, здесь нужен кто-то средний между луддитом-отшельником и чуваком, боящимся пропустить презентацию нового айфона. Технологии просто что-то с нами сделают (вернее, мы с собой с их помощью), и вызовы станут другими.

КА: Кстати, вот здесь опять мне видится ловушка — есть ведь левая политика, а есть левая философия, и это не совсем одно и то же «левое», разве нет?

ВГ: Мне кажется, различие в том, что одно «политика», а другое «философия», но, как правило, левая

философия очень политична, одно черпает вдохновение из другого. А ты что имел в виду?

КА: В политических механизмах решаются конкретные задачи, определяются векторы движения, это всегда какая-то полемика (должна быть, по крайней мере), что-то долгое и общее для всех — для жителей страны или нескольких стран.

А философия — это о мышлении, что-то и к одному человеку применимое, причём в каждой ситуации по-своему преломляемое, понимаемое-непонимаемое, перепридумываемое. В политике всё более однозначно, хотя при этом, как мы уже сказали, в итоге получается нечто гибридное.

А правая философия? Такая вообще есть?

ВГ: Есть философы-традиционалисты вроде Рене Генона. Есть философы, которые как бы просто говорят о мире, но их взгляды влияют на их мысль — или наоборот — мысль (на самом деле всегда политичная) влияет на взгляды (случай Хайдеггера). Есть философы-защитники государства — ниточка тянется от Гоббса и приводит нас, например, к Карлу Шмитту. Или философы, близкие к неолиберализму — Фукуяма с его концом истории. Иногда кажется, что концепты философа почти никак не коррелируют с его политическими взглядами, но я не уверен, что это правда так. В любом случае, мне сложно представить мыслителя, мыслящего совсем неполитически.

КА: Пятигорский? Но в целом да, понятно, что корреляция определённая есть.

ВГ: Кстати, удивился, когда узнал, что он говорил о себе как о человеке правых взглядов. Следствие жизни в СССР, видимо. Мне кажется, это тоже интересный вопрос — как жизнь в определенном историческом периоде влияет на наши политические взгляды. И как опыт неудачного политического проекта это всё трансформирует. Вот многие андеграундные поэты прошлого века ратовали за индивидуализм и либерализм, хотя, возможно, родись они в другое время и в другом месте — всё было бы иначе.

КА: Да, это очень интересно. В целом интересна эта антропология — как люди генерируют или принимают те или иные идеи, как они трансформируются с течением времени и трансформируют самого субъекта, какую роль играет опыт травмы да и вообще любой опыт.

Я думаю, что задача первого номера нашего — как раз отразить в текстах такие моменты.

ВГ: Хотя бы к ним подступиться. Говоря о трансформациях, возможно, стоит обсудить нынешнюю ослабленность левого движения, которая, кажется, из неудачи советского проекта и происходит (не только опыт поражения, но сама негативность проекта, которая ставит левую идею, мне кажется, всё-таки под большой вопрос — она должна каким-то образом радикально трансформироваться для настоящего). Так вот — каким образом? Только ли технологии?

КА: Относительно ослабленного левого движения и неудачи советского проекта, левое крыло дискредитировавшей, я могу сказать, что здесь, на мой взгляд,

беда в том, что мы каждый раз стараемся слишком глобально к проблеме подойти, пытаемся мыслить в масштабах всего общества, и в этом кроется большая ошибка. Дискредитирован ведь именно тотализм — чёс под одну гребёнку, а левое — это скорее о том, что люди на равных сосуществуют, что-то выстраивают, но каждый как хочет и чем хочет чешется или не чешется.

Интересна именно история про горизонтальные связи, diy, локальные сообщества — когда все без институций и помощников сверху, бесполезных и ангажированных, друг друга знают и вступают во взаимодействие, в кооперацию, что-то создают. Рябов, в начале тобой упомянутый, отчасти прав: можно не маркировать себя как анархиста и «левака», не вступать в оппозицию, но делать что-то внеструктурное или, как говорит Юрчак, вненаходимое. И чем больше таких людей, инициатив, феноменов культурных, тем левое движение сильнее. Хотя опять же это не совсем про политику, наверное.

ВГ: Да, мне кажется, это скорее социальная деятельность, и анархизм в пределе — исключая акты политического сопротивления — видится мне именно такой деятельностью. Вопрос в том, можно ли, занимаясь этим, что-то действительно существенное противопоставить «левиафану» — и надо ли противопоставлять.

Что касается советского проекта, моя мысль была как раз в том, что начиналось это не как нечто тоталитарное.

литарное (хотя октябрьский переворот и свержение временного правительства уже поставил демократическое развитие под вопрос), а потом в результате разных факторов левое начинание скатилось в трагический пиздец.

С социальной деятельностью приведу простой пример, который мы уже обсуждали: проекты коммунального жилья, которыми занимается твой друг Ларс из Германии. Это очень здорово, но, боюсь, в нашей — более авторитарной и бюрократизированной стране — такой проект вряд ли был бы реализован. Очень вероятно, что пришли бы какие-то люди, которые заинтересованы в получении денег, и сказали, что то, чем занимается Ларс, неправильно. И вот если начать бороться против этих людей, то это уже политика со всеми ее властными искушениями и возможным насилием. Получается, мы в такой ситуации, где пространства для *diy*-деятельности становится всё меньше, и его следует отвоевать.

ИС: На этот счет есть как раз отличный пример: под Питером находится Ржевский полигон, ему сто пятьдесят лет. Там испытывали всякое оружие дальнобойное. От него последние лет двадцать потихонечку отпиливают кусочки и продают под видом дач. Ну, какая-то местная мафия — просто берут тракторы, сносят лес, что-то там строят. Есть люди, которые против этого. Они просто живут рядом, им не хочется все эти дачи, им хочется собирать грибы. Некоторые люди, которые за это борются, даже и не живут там.

И мне дядька рассказывал, как они пришли с ружьями, чтобы остановить очередной трактор. Потом к ним какие-то чинуши подходили и спрашивали: «А ты-то че, у тебя-то какая выгода с этого? Ты что, тут построишься?». А эти участки им не нужны, они хотят там просто ходить.

Эта такая психология, которая, к сожалению, в России действительно не позволяет делать что-то более-менее масштабное в контексте улучшения инфраструктуры, не получая с этого выгоду, даже если ты не хочешь с этого выгоду получать.

ВГ: Да уж, это какое-то ультрабытовое сознание, которое, видимо, на разных уровнях у нас проявляется. Когда я расстался с девушкой, с которой встречался долгое время, мои родственники были уверены, что это произошло потому, что у меня дома (в студии) не было кухни, а многие знакомые считали, что это случилось из-за того, что я не сделал девушке предложение. Короче говоря, всё объясняется через очень формальные и простые вещи. И как наши знакомые не могут предположить, что люди перестают быть вместе из-за сложных политических, онтологических, сексуальных и т.д. соображений, так чиновники видят за идейным противоборством выгоду, так и публика в фейсбуке обвиняет современных художниц (вроде Катрин Ненашевой) в желании пропиариться за счет своих проектов. И это почему-то повсеместно. То есть для меня проблема даже шире оппозиции «выгода — чистые помыслы».

При этом я не о том говорю, что все вокруг безгрешные. Соображения выгоды присутствуют почти всегда. Просто есть не только они, и всё это реализуется как бы совсем в других конфигурациях.

КА: Да, согласен. Здесь, наверное, прав Илья, когда говорит о том, что «просвещение» (может, всё же есть более подходящее слово?) способно эти сомнения посеять в головах — дать понять, что может быть по-другому; нет никаких идеальных сценариев и общих для всех шаблонов, и надо всё же, наверное, к пониманию и принятию стремиться, а не к отгораживанию и герметизации, хотя и с ними в некоторых областях бывает интересно.

Но ведь нельзя сказать, что «правые» — однозначно за капитализм, например, а «левые» — против?

ВГ: Правые могут быть разными — например, лютые традиционалисты-примитивисты, которые, конечно, против капитализма как атрибута современности. А насчет левых — есть лево-либералы и социал-демократы, которые в целом, как мне кажется, за капитализм в каких-то умеренных проявлениях, как в условной Норвегии.

ИС: Если не очень подходит «просвещение» (согласен, это нечто старомодное), то я бы тогда предложил «усложнение». Мне кажется, что любой дискурс, который направлен на установку границ, можно условно считать правым — в максимально широком смысле. А левое — про трансформацию всех этих границ, скорее про зазоры, чем про какие-то линии.

И продвинуть эту вещь может как раз усложнение (или «просвещение», но любое «просвещение» есть как раз усложнение, потому что чем больше мы знаем, тем сложнее становится).

КА: Чем сложнее, тем больше сомнений, да.

А по поводу капитализма — вот-вот, все могут быть разными. И это касается даже каких-то основополагающих вещей.

Мы ещё о субкультурном моменте не говорили — когда в двухтысячных вдруг стали молодые люди массово делиться на фашистов и антифашистов, при этом в общем и целом одних и тех же организационных принципов придерживаясь, и всё было (да и до сих пор есть) больше про правое, наверное, так как держалось на фигурах харизматичных лидеров, чётких установках, правилах поведения и т.д. Хотя внешне вроде как одни сугубо правые, а другие сугубо левые. А в голове у каждого своё.

ВГ: Мне кажется, что фашисты и антифашисты всё-таки разных принципов придерживаются. Сходств больше в эстетике и практиках — за счет возраста и субкультурности.

Мне видится, что фашисты, даже субкультурные, — это всегда принцип смыкания, а антифашисты, наоборот, размыкания.

Собственно, «фашио» с итальянского и переводится как «пучок». Вот этот момент собирания и замкнутости для меня интересен в определении фашизма: когда мир становится очень маленьким, а все, кто

в него по определенным параметрам не подходят, исключаются.

КА: В любом случае, фашизм и антифашизм — это частный случай столкновения правого и левого. Но я уверен, что мы неоднократно к нему обратимся в текстах номера.

ИС: Что касается вот этих фашистов и антифашистов, которые существовали в какой-то момент, — они ультрас, и те, и другие. А оппозиция левого и правого представляется мне не как линия, где одна точка слева, другая справа, а скорее как некая подкова. И получается, что ультралевый и ультраправый края, по сути, ближе друг к другу, чем умеренный правый к умеренному левому, гораздо ближе. В этом смысле, конечно, нельзя не вспомнить про Лимонова с его национал-большевистской партией. Казалось бы, противоречит одно другому, но на самом деле совсем нет. Я думаю, что, в какую бы крайность мы ни ударились, мы, можем быть, окажемся в одной точке. Довольно ужасной.

ВГ: Не совсем согласен, всё же для меня тут больше различий, чем сходств. Думаю, левый радикализм, который, например, может проявляться — за редкими исключениями — в актах индивидуального террора, отличается от правого фундаменталистского радикализма (и, соответственно, как правило, террора массового).

Да и какие-нибудь условные народовольцы моему сердцу гораздо милее условной черной сотни,

хотя деятельность и тех, и других вызывает много вопросов.

Про Лимонова — интересно. Мне кажется, это такой постмодернистский проект, который смешивает левое и правое именно на этой, игровой и карнавальной, почве. Примечательно, что постмодернистская игра в итоге обернулась нацболами, воюющими в Донбассе: сначала как фарс, потом как трагедия.

На этом всё, наверное?

КА: Пожалуй, да. Не уверен, что нашему разговору можно подвести какой-то итог, ведь мы скорее просто обозначили какие-то важные для нас аспекты выбранной темы, которые будут более подробно раскрыты в последующих материалах. Но какое-то резюме составить всё же попробую.

Итак, друзья, мы пришли к тому, что тема «правого» и «левого» в современных реалиях, безусловно, трансформируется, но продолжает быть актуальной и довольно прочно укоренённой в политической и социальной жизни, в искусстве и в философских концепциях.

Мы говорили о том, что маркировка эта иногда весьма условна и субъективна, однако по-прежнему важно каким-то образом определять себя в политическом поле, так как взаимодействие в нём зачастую строится на оппозициях, а участвовать — значит выбирать, определяться, отстаивать. Однако далеко не всегда понятно, что именно следует выбирать и отстаивать, так как с постепенным усложнением социальных,

культурных отношений растёт степень сомнения, которое ведёт к попыткам понять и принять, но может трактоваться и как слабость.

Высказывались различные трактовки понятий «правого» и «левого» — в последующих материалах номера мы постараемся более точно их определить и проанализировать. Точно так же, как постараемся проанализировать связанные с ними явления с антропологической, социальной, философской и других точек зрения. Интервью, художественные тексты, репортажи и аналитические статьи — мы пока не знаем, сколько в них будет сомнений, практик отгораживания, вненаходимости, авторитарных фигур и новых технологий, но постараемся быть честными и беспристрастными в своих поисках. При том, что уже сейчас признаёмся, что во многом нам близко именно левое крыло, пусть даже со всеми «но» и «хуй знает».

Цветочного нектара, сладости и милоты не обещаем, как и заглядывания за горизонт, но, может, хотя бы на самом горизонте что-нибудь высмотреть удастся.

Кстати, вот нашёл у Лимонова цитату: «Нет ни левых, ни правых — есть Система и враги Системы».

Влад Гагин, Кирилл Александров, Илья Семёнов

наскальный рисунок



ОПЫТ ТРАНСЪЯЗЫКОВОГО ЗНАКОМСТВА

Подборка стихотворений Марии Фесенко с предисловием Влада Гагина.

Примечательно, что эти стихи, эта подчеркнута современная и как будто по-филологически аккуратная речь, со всеми запланированными взрывами и проверками своих же границ на прочность, родилась на некотором перекрестье стран и языков — во время летнего путешествия в американскую писательскую школу. Об этом фактическом обстоятельстве можно было бы умолчать, если бы не сами тексты, характеризующиеся умелыми переходами из одного дискурсивного положения в другое, проблематизирующие многомерность современного мира с его потрясающей воображение валентностью, благодаря которой неизвестная в снэпчате становится ближе, чем родственник или тот, кто находится «рядом» в прямом, пространственном смысле слова, а контексты скрещиваются так легко, что когда на протяжении всего нескольких строк мы читаем о Древней Греции, французской литературе прошлого и левой повестке, критикующей институциональность, ничего не кажется странным.

При этом субъект стихотворений Марии Фесенко удивительным образом отличается от субъектности, представленной в большом массиве поэзии, настроенной на исследование схожих политических проблем и ценностей — наэлектризованная валентность, упомянутая выше, множественность мира, прекарность социальной ткани и неразрешимость поставленных перед субъектом вопросов завораживают его, почти лишая поэтическую речь той мрачной негативности, которая, как кажется, уже стала привычной спутницей искусства. В то же время многое в текстах Фесенко как будто критически перепроверяется заново: регистры, обещавшие освобождение, при ближайшем рассмотрении оказываются таящими внутри себя скрытую репрессивность, а то, что никак не казалось спасительным, вдруг, отделяясь от стереотипов прошлой оптики, обнажает надежду на освобождение. Таким образом, одной из важнейших интенций, способствующих движению стиха, здесь становится интенция «продуктивного замешательства» перед миром, неуверенности, которая не мешает совершать уверенные шаги: *«не зря, не зря разночинец меняет святую тяжесть / на светскую легкость прощаний / по pressure / он проходит за две недели путь от моллюска до рудокора и обратно».*

никому не скажет
помнишь ли?
да и кто скажет?
кто говорит?
слон не ответишь
слову не дать напиться

перед тем как позвать heu помолчишь немного[1]
этот момент смолкой стекает по стенам брусчатым
миг возможности вязкой
то ли знать что чужой чужая чужая
то ли узнанной в глазах отразиться
добавлять живого живую живую в голос
это лишь форма власти в ограниченном поле текста

[1] не ты помолчишь а man (davon muss man schweigen)

по-разному уплотняется воздух
но уплотняется для каждого
гнет к земле давит мы каменеем
слушая пьесу поэму об арабской весне
мы шутили учили как бы сказать по русски
я тебя люблю выходи за меня
телом костей крови вмятые в пластик
слушаем пьесу поэму об арабской весне
спорят зей и ханин о гоге с магогом
есть ли стена защищает ли мир от чудовищ
пропадают ли корабли самолеты в бермудском треугольнике
есть ли демоны добрые неименованные существа
можно ли имя собственное прозвучать
перемигиваемся
переглядываемся с зей
ханин ханин кричат какие то звери
имена зверей не известны
кричат в пустыне
земля обетованная
опыт неразделимый

Sparkling water, sodium free,
Sparkling things, the way they were made,
Trustworthy things, the way they were made,
And distinction.
Early modern man classifying, categorizing things,
Surrounded by tangible objects in all their grace,
In all their plastic heaviness, all their gloss.
Maintaining, recreating the myth,
Sorting out the words,
Groping around.
There's a clot of glittering things, fast-produced,
fast-consumed, coming
Through the row of fine, reliable ones,
There are people enjoying both
Simple-heartedly.

в шумном и шероховатом выбираю семена, святая тяжесть
не по горизонтали, наискосок
кирпичи вавилона, обожженные, обветренные
{ich war ernst wenn ich sagte}
вавилонские дети помогают, среди кафеля
распластавшись, петь,
речь дают, сбивчивую though густую,
сторожей добрых обходят
{dein aschenes Haar Sulamith}
и все зря
не зря, не зря разночинец меняет святую тяжесть
на светскую легкость прощаний
no pressure
он проходит за две недели путь от моллюска
до рудокопа и обратно

снэпчат и товарняк что вам перегонки
по олхинскому плато среди известковых заводов
роза ветров алюминий относит к мельничной пади
падают сосны в жадные руки китая
так говорит моя мама и мама ее говорила
икс в снэпчате говорила другое а именно:
yeah peak capitalism that makes us wanna use a product
everyday
и светилась откуда то прорывалась goofy лучик на букву з
ничего о лучах не зная давала подсказки
наперегонки с товарняком с товарняком
среди контаминаций памяти
infected with gayness
absolutely mesmerizing

ja sizhu za stolom
потраченная земля
вызывает меня
и клубни ее клокочут strategically
и ее conde(n)scending рыбы посматривают
уже ничего и не скажут то ли дело раньше
но ночью ко мне приходит из будущего де ла бретонн
он пачками раскладывает нас по бесславным институциям
как ясон
и носом поводит чу пифагорейский дух
он морщится урну с водой уронив
чу патриархальный миф
и на земли мир и ja sizhu za stolom

Мария Фесенко



Первая статья из серии «Кожа», в которой Алексей Боровец анализирует правые настроения в современной Америке, посвящена общественной дискуссии вокруг памятников Христофору Колумбу.

Пролог

Колумб Америку открыл —
великий был моряк!

*«Песня о вреде курения»
из м/ф «Остров сокровищ»*

Многие правые в США никак не могут принять того факта, что история их страны началась бесславно. Христофор Колумб уже в первый день на новом (для него) континенте прикидывал в уме, как превратить местное население в рабов и слуг. Когда «первооткрыватель» так называемой Америки прибыл в «Индию» во второй раз, он привёз собак для охоты на коренное население и приступил к работоторговле. Сохранилась гравюра 1495-го года, на которой испанский солдат кормит гончих собак детьми местных жителей, и это, конечно, далеко не единственное свидетельство о зверствах, которые чинили европейцы на обнаруженных землях. Ещё

при жизни Колумба было задокументировано и обнаружено множество леденящих кровь историй о том, как низко может пасть человек, когда ему не угрожает наказание за совершаемые действия. Именно Колумб и его кампания, распаляемая жаждой золота и власти, начали геноцид племён, живших в Новом Свете. Спустя полвека после высадки Колумба сотни тысяч местных жителей были убиты либо погибли от привезённых из Европы заболеваний.

Здесь следует вспомнить, что имя Колумба — один из значительных источников для топонимов США (столица страны — Вашингтон, округ Колумбия, столицы двух штатов называются Колумбия и Колумбус, на северо-западе Северной Америки протекает река Колумбия). В октябре страны Южной и Северной Америки празднуют День Колумба. В США ряд штатов не отмечает этот праздник (Аляска, Вермонт, Южная Дакота и, как ни странно, Орегон, славящийся в наши дни своими бойцами за сохранение превосходства белых). Канада также удерживается от чествования алчного и жестокого мореплавателя. В августе этого года городской совет Лос-Анжелеса заменил праздник День Колумба на День Коренных Жителей. Инициатива была направлена против «спонсируемого государством празднования геноцида местного населения». Впрочем, Лос-Анжелес лишь повторил то, что прежде уже проделывали другие города США. Предположительно тренд начался со студенческого городка Беркли, который в 1992-м году заменил День Колумба на День

Коренных Жителей. В честь легендарного первооткрывателя также названо влиятельное католическое братство «Рыцари Колумба».

Памятники Колумбу стоят во многих городах США и продолжительное время подвергаются актам вандализма. В городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, статуя легендарного порабощителя была обезглавлена, а в городе Балтимор, штат Мэриленд, был повреждён молотом обелиск, являющимся первым мемориалом Колумбу. Высокопоставленные чиновники и активисты обсуждают возможность упразднения памятников Колумбу. В данном контексте особенно интересно то, как высказываются противники и сторонники сноса этих памятников. У некоторых из них настолько сбита этическая оптика, что они, сами того не подозревая, защищают расизм.

Я не расист, но

В ночь на 12 сентября антирасистские активисты раскрасили столетнюю статую Колумба в Центральном Парке Нью-Йорка. Руки мореплавателя были окрашены в красный, а на пьедестале было сделано несколько надписей, включая хэштег «#somethingscoming» («грядёт нечто» — англ.) и фразу «Hate will not be tolerated» («Не потерпим ненависти» — англ.). Журналисты из New York Times опросили разных людей, увидевших статую наутро. Вот что сказал капитан грузового судна из Бельгии Робрехт Корнелис, оказавшийся в тот момент в Нью-Йорке с семьёй: «Хорошо, что люди

помнят о другой стороне истории. Людям нужно обратить внимание на полную историю». Трудно поспорить с Корнелисом. Хочется добавить, что важно не только помнить «другую сторону» истории, но и понимать её, и не давать ей протягивать свои руки в настоящее.

Совсем иначе высказался Марк Холландер, девелопер недвижимости из Майами, прибывший в Нью-Йорк переждать ураган Ирма, бушующий во Флориде. «Мы все давно знаем, что нетерпимость, рабство и расизм есть зло, но (!) мы не можем подделывать историю. Возможно, Христофор Колумб не был самым этичным или добрым человеком, но его достижения говорят сами за себя». Как видно, Холландер — типичный представитель огромной группы белых людей, которые не видят разницы между историей человечества и историей белых. Холландер попадет в когнитивную ловушку, характерную для «белого» сознания: он ставит знак тождества между понятиями «человек» и «белый человек» (или даже «белый мужчина»), в то время как человек, представляющий другую расу, всегда будет обозначаться каким-нибудь специальным образом (хотя бы «чёрный человек» или «цветной»). Проблема не в языке, а в системе координат, в интерфейсе. Как только «белый» нормализуется, всё прочее становится маргинальным и второстепенным. Происходит расчеловечивание на многих уровнях, и осуждение расизма — это меньше, чем необходимый минимум действий на пути к взаимному уважению разных людей.

Так и быть, последуем крылатому выражению — «история не терпит сослагательного наклонения» — и не станем фантазировать о том, как могла бы сложиться общая судьба европейцев и людей из «Нового Света» в случае, если бы их контакт был установлен более гуманными путешественниками. Я согласен, что достижения Колумба говорят сами за себя. Но я думаю не только о том, что европейцы получили два континента и распространили там свою цивилизацию, но и о том, что строилась Америка рабами на землях, силой отобранных у местных жителей, которые никого туда не приглашали. Кто начал порабощение и геноцид? В эпоху Колумба были и другие люди — те, кто критиковал его, но, к сожалению, тренд был задан не ими. Соглашусь с Холландером в том, что не стоит подделывать историю. Боюсь, что в его случае это означает, что историю не следует изучать — достаточно наивно верить тому, что дурным людям памятников не ставят (интересно, верит ли Холландер в то, что глобальное потепление — миф?).

А вот точка зрения человека, который посвятил свою жизнь борьбе с дискриминацией национального меньшинства — итало-американцев. Президент организации «Сыны Италии, национальная комиссия за социальную справедливость» Кевин Кайра отреагировал на акты вандализма по отношению к мемориалу Колумба следующим образом: «Это случается повсюду. Он был мишенью людей, утверждающих, что он породил все болезни мира, что он спровоци-

ровал геноцид и рабство. Это попросту неправда». По словам Кайра, несправедливо судить о великом первооткрывателе 15-го века, используя стандарты 21-го. Заметьте, эти слова произносит президент организации, которая борется за создание позитивного имиджа итало-американцев — по всей видимости, речь идёт об органичном вписывании выходцев из Италии в систему господства белых: да, мы тоже уважаем американскую (читай «белую») историю и традиции.

Я не думаю, что алчность и бессердечие считались благодетелями в 15-м веке, а потому высказывание Кайра о том, что не стоит судить Колумба по сегодняшним меркам, кажется неубедительным. К тому же Кайра идёт против фактов, когда говорит о том, что Колумб не был причиной геноцида и рабства, так как Христофор лично участвовал и в организации уничтожения и порабощения местного населения и в торговле людьми. Разумеется, не стоит во всём винить лишь его — Колумб только начал то, что продолжалось в Америках сотнями лет. В некотором смысле для многих граждан США подлинные этические мерки не далеко ушли от 15-го века.

Многие, в том числе прославленные американцы, вплоть до конца 19-го века считали коренных жителей континента лишь помехой на пути расселения свободных белых. Например, один из героев Гражданской войны, сражавшийся на стороне федералов («прогрессивных» парней, чья победа привела

к отмене рабства в США) Филип Шеридан говорил, что из всех индейцев, которых он встречал, хороши-ми были только мёртвые. Увы, для Шеридана это было не только словами — его имя связано с бескомпромиссной борьбой с аборигенами и истреблением бизонов, которые имели огромное значение для коренного населения (резкое сокращение популяции животного привело к массовому голоду). По сей день многие места в Америке названы в честь прославленного генерала. Другому герою армии Севера, Ричарду Доджу, приписывают фразу: «Убивайте каждого бизона, которого сможете убить. Смерть каждого бизона — это исчезновение индейцев».

Надо понимать, что и президент Авраам Линкольн — честный Эйб — не сделал ничего для того, чтобы белые американцы увидели в «индейцах» людей. При Линкольне продолжалась травля племён, живших на территории современной Калифорнии. Всё это лишь подтверждает, что отмена рабства интересовала федералов отнюдь не из уважения к человеческой жизни и свободе. Сегодня в США всё больше людей считают, что конфедераты, выступавшие в Гражданской войне за сохранение рабовладения, были поборниками господства белых (white supremacists), однако в обществе практически не слышно высказываний о том, что и их оппоненты в войне были такими же расистами. Победа северян не уравнила в правах коренных жителей Америки и чёрное население с белыми пришельцами.

Но что уж говорить о политиках и военных, когда даже белая интеллигенция в своих речах предвосхищала лозунги европейского нацизма 20-го века. Например, автор известного всем «Волшебника страны Оз» Лайман Фрэнк Баум, ещё будучи журналистом в еженедельнике «Пионер», высказывал на страницах издания такие идеи, после которых у него не должно было остаться шансов что-либо писать вообще. В 1891-м году, спустя шесть дней после того, как американские солдаты в ходе захвата новых территорий коренных жителей убили около трёхсот представителей племени лакота (включая женщин и детей), Баум написал следующее: «Пионер уже заявлял, что наша безопасность требует полного уничтожения индейцев. Мы притесняли их в течение веков, и нам следует, чтобы защитить нашу цивилизацию, ещё раз их притеснить и стереть, наконец, этих диких и неприручаемых тварей с лица земли. В этом залог будущей безопасности поселенцев и солдат, которые оказались под некомпетентным командованием. Иначе в будущем нас ожидают проблемы с краснокожими, ничуть не меньшие, чем в прошлые годы».

В конце 19-го века эти заявления сошли Бауму с рук. Печально, что в наш «прогрессивный» век его статья не стала предметом широкой общественной дискуссии, хотя и упоминалась в журнале Huffington Post по случаю 75-тилетия выхода на экраны «Волшебника страны Оз» режиссёра Виктора Флеминга.

Синдром Христофора Колумба

В американском сленге существует понятие «синдром Христофора Колумба». Этот «синдром» напрямую связан с процессом джентрификации. Джентрификация — это, скажем, когда белые хипстеры переезжают жить в Бруклин, где им всё в новинку. Они «открывают» этот район города, забывая, что там уже десятки лет существует сложившееся сообщество со своими привычками и законами. Нет. Пришельцы начинают жаловаться на уличных музыкантов в полицию, «очищать» район от граффити, вытеснять местный малый бизнес, принадлежащий чёрным американцам, и вообще делать всё возможное, чтобы превратить Бруклин в привычное для них место жительства, с другим обликом, другой культурой, другим порядком и — что немаловажно — с другими (более высокими) ценами. «Джентрификация начинается с велосипедной дорожки», — гласит едкий вирусный твит, набравший более ста тысяч сочувственных лайков. Такие первооткрыватели служат разложению общин, подобно тому, как европейцы до неузнаваемости изменили облик континентов западного полушария — и для тех, и для других местное население воспринимается как любопытный курьёз, помеха или же средство достижения экономических целей. Местное население слишком слабо, чтобы противостоять подобным вторжениям. Пожалуй, упомянутый «синдром» — единственное явление, которое заслуживает быть названным в честь Христофора Колумба. Незваные гости,

которые притесняют (или даже вытесняют) незащищённые общины — и есть носители этого синдрома.

С 1825-го года в США официально была закреплена «Доктрина открытия», согласно которой всякая «открытая» земля переходила тому, кто её «открыл». Местное же население не имело прав на свою землю. Формально люди могли продолжать жить на этой земле, но права оказывались у белых «Колумбов». Ещё один пример того, как человек, «открывший» Америку, задал тон дальнейших отношений европейцев с жителями Нового Света.

«Не моя история»

Жители Миннесоты запустили петицию, призывающую заменить памятник Колумбу памятником музыканту Принсу, который родился в этом штате. Текст петиции адресован лично губернатору Миннесоты, и в нём сказано, что жители штата не желают прославлять насильника, поработителя и убийцу. «Принс представляет ценности Миннесоты, а Колумб — нет», — говорится в конце текста петиции. Также предполагается, что увековечен должен быть не только легендарный артист, но и ещё один человек — на выбор местного сообщества коренных американцев. На момент написания статьи петицию подписало почти шесть тысяч человек.

Белые, не согласные со сносом памятников их героям (поборникам рабовладения, расистам и прочим мрачным личностям), часто апеллируют к идее бережного отношения к истории, упуская из виду сла-

бые стороны подобной аргументации. Во-первых, история и памятники — совсем не одно и то же. Если вам очень не терпится взглянуть на любимого душегуба — пожалуйста, сходите в музей. Во-вторых, бережное отношение к истории на поверку оказывается бережным отношением к одним и тем же белым мужчинам, которые убивали себе подобных и этим снискали себе почёт и уважение. Симптоматично, что 19 сентября в центре Москвы был открыт памятник никому иному как Калашникову — да ещё и с его смертоносным детищем в руках. Я думал, что уже и так достаточно памятников мужчинам — к тому же связанным с войной.

Напоследок предлагаю проделать мысленный эксперимент. Представьте, что ваш маленький народ когда-то был многочисленным и проживал на обширной территории, пока жаждущий наживы грабитель во главе хорошо вооружённого отряда не перебил почти всех ваших предков, заставив уцелевших уйти с лучших территорий. Прошло много времени, и зла вы не держите. Спокойно учите историю государства, прибравшего земли вашего народа к рукам, говорите на языке, произошедшем от того, на котором говорил грабитель, а памятник этому героическому полководцу провожает вас взглядом, когда вы проходите мимо него. Едва ли вам приятно встречать его снова и снова. И если вы думаете, что я всё ещё говорю про Колумба, а не про атамана Ермака, то подумайте ещё раз.

Алексей Боровец



Статья Влада Гагина о возможностях создания новых политических отношений в мультфильмах с ютуба и современных поэтических текстах.

1.

Ютьюб-канал со смешным названием «Cool 3D World» выкладывает короткие (как правило, хронометражем в 1–2 минуты) мультфильмы, которые хочется сразу же, не думая, окрестить странными. Если задаться вопросом, что именно представляет собой эта «странность», можно выделить несколько линий, определенным образом пробующих осуществить перекодировку привычных социальных отношений. Схожие процессы, как кажется, можно наблюдать и в текстах некоторых современных поэтов, но обо всем по порядку.

Субъекты этого мира (назвать их людьми довольно сложно, поскольку почти каждый персонаж в той или иной степени отдален от антропоцентричных гуманистических идеалов прошлого) уравниваются в правах со всем остальным «миром», с животными, вещами, вытекающей из персонажей и вещей слизью и иными объектами. Уравнивает их стремительность происходящего, метаморфозы, которые случаются (или,

по крайней мере, могут случиться) с каждым, беззащитность «каждого» перед возможными изменениями; эти трансформации стирают четкую границу между живым и неживым, природным и культурным.

Работа описанной масштабной фабрики по производству трансформаций также не подчиняется привычной «человеческой» логике — будь то логика производства желаний, мотивы выгоды или альтруизма или даже банальная причинно-следственная связь. В некоторых мультфильмах сохранен довольно четкий нарратив, однако он представляется абсолютно номинальным, оторванным от того, что, собственно, говорится. В результате мы получаем голое сообщение о чьей-то (нашей? или чьей-то другой?) жизни, сгусток аффектов, в котором важно, например, не то, что ребенок в определенном возрасте пошел в школу, а то, как именно повернула шею его соседка по классу, то есть то, что в классическом нарративе было бы всего лишь случайностью, погрешностью монтажа или тем, что ведет к чему-то более значимому (к любовной линии, которая выстраивается и в нашем мультфильме, оставаясь в то же время фиктивной).

2.

Джорджо Агамбен, вскрывая репрессивное устройство современных демократических режимов, основанное на практиках проведения биополитики, а также оппозиции «суверен — homo sacer» и структуре права, включающей (и постоянно расширяющей) возможность

введения чрезвычайного положения, в то же время предлагает конструирование другой политики, в которой homo sacer, или голая жизнь, переходит из негативного состояния в позитивное, создавая пространство, избегающее давления власти и выставляя, как в одном из текстов Майкла Хардта и Антонио Негри (речь о сообществе францисканцев), «против ничтожества власти силу радости бытия».

В другом фрагменте Агамбен вспоминает рассказ Франца Кафки, в котором конь Александра Македонского становится адвокатом. В этой перемене деятельности, если следовать агамбеновской интерпретации, кроется исследовательское или игровое звено, которое может в будущем позволить человечеству обращаться с правом, «как дети играют с вышедшими из употребления объектами, т.е. не для того чтобы вернуться к их каноническому применению, а чтобы навсегда освободить их от исходного назначения», чтобы в итоге получить мир, явленный как принципиально неприисваемое правом благо (в этой терминологии проявляется, по выражению Алена Бадью, «латентное христианство» Агамбена, его склонность видеть в фигуре homo sacer потенциал к трансформации в мессианического человека).

Кажется, авторы мультфильмов «Cool 3D World» не мыслят в категориях блага, однако созданные ими произведения напоминают экспериментальный плацдарм для разработки новых политических конфигураций, в которых пока находится место и для негативной,

и для позитивной голой жизни и в которых игрового начала, раскрученного благодаря ускоренной валентности этого художественного мира, достаточно не только для превращения коня в адвоката, но и для расщепления животного на атомы с последующей его пересборкой во что угодно новое.

3.

Практики современной поэзии зачастую также напоминают своеобразные лаборатории, в которых ведется работа по разрушению авторитарных механизмов и выработке нового протестного состояния, которое, несмотря на пессимистичные уверения Марка Фишера, не сможет мгновенно присваиваться институтами капитализма.

Формат статьи не предполагает подробного разбора этих поэтических машин, поэтому стоит попытаться максимально сжато описать их действие. Как правило, речь идет о совсем молодых авторах. Это, например, тексты Виктора Лисина — короткие сцены с набором неожиданных происшествий (*«Если долго и молчаливо стоять в России / бородатый мужчина с запахом изо рта / спокойно поднимет тебя и понесет»*), часто любовного характера, с почти постоянной, как отмечает критик Игорь Гулин, проблематизацией и оголением использованных поэтических приемов; это также стихотворения Дмитрия Герчикова с их карнавальными переходами из комического в трагическое и обратно; и, напротив, почти лишенные комического

и иных человеческих аффектов стихотворения Екатерины Захаркив (*«невозможно стать измеримыми / мы по-прежнему не подлежим прочтению / нас вообще нет / и нет пореза отделяющего нас — нами же — от мира / есть технэ лиц / и некогда здесь была полоса реки»*), стихотворения, субъект которых делается практически нераспознаваемым в потоках проходящих сквозь него объектов, территорий, теоретических концептов; или же тексты Никиты Левитского (*«мы продвигаемся в том же ландшафте, отвернувшись от полос железной дороги, от / металлических свай. эта жирная линия снега между петлей трассы и линейкой путей — / это то место, где мы как бы живем и рассказываем историю»*), этот бесконечный темный и не менее фиктивный нарратив, регистрирующий как будто случайные действия повторяющихся персонажей и заставляющий таким образом читателя сконцентрироваться на чем-то другом, на самой структуре художественного высказывания, складках, в которых происходят описываемые события.

В некоторых сценах можно усмотреть критику классового разделения, а также рефлексию по поводу отношений власти и подчинения, но даже эти сцены видны как бы издали: обстановка может намекать на жизнь upper-middle-класса, но никаких иных признаков благополучия, кроме этой призрачной атрибутики, не просматривается, а суверен, как будто заставляющий (хотя конкретных повелений мы не слышим) других персонажей заниматься чем-то малоприятным

в серой яме, сам оказывается включен в механику этого мира, онтологические условия которого сминают под собой любые юридические отношения.

Важно отметить, что эта молодая поэзия не говорит о политическом так «прямо», как могли писать многие поэты, активно работавшие в 90-х (например, Станислав Львовский и Кирилл Медведев). Конкретные политические и исторические события, если они и упоминаются, становятся только одним из элементов в этих плавильных котлах, способных переработать, как кажется, все, что угодно: пропагандистские сообщения медиа, популярные хиты прошлого и настоящего, философские теории, образы из рекламы, личный и коллективный травматический опыт.

Предположу, что одной из причин такой перемены является реакция на расширение визуальной техногенной среды, которая «соответствует господствующему режиму темпоральности и синтетического восприятия, задаваемому масс-медиа; 4) вписан(а) в культурную индустрию, а следовательно 4) в машину капитализма, осуществляющую детерриториализацию любых идентичностей, центрированных на лингвистической компетенции, которую заменяет 5) расширенное воспроизводство и потребление аудиовизуальных образов, 6) каковое становится актуальной зоной эксперимента с коллективным бессознательным, структурированным отныне не как язык (Лакан), но как вынесенный вовне сенсориум, экранированная эктоплазма, центр которой нигде, а аффект — везде».

Однако если для Александра Скидана работа машин когнитивного капитализма являлась причиной болезненного самоисключения из них, то новые поэты, «с самого начала» живущие в этом «сенсориуме», относятся к нему как будто бы легче: они либо присваивают практики спектаклизированных массмедиа, а также интернета и социальных сетей, с тем, чтобы направить их в другие русла (случай Вадима Банникова, Виктора Лисина, Дмитрия Герчикова), либо отстраненно конструируют пространства где-то «сбоку» от полыхающих регистров тотальности, которые если и входят в их тексты, то на иных, гораздо более умеренных, правах и наравне с другими дискурсивными стратегиями и объектами (случай Никиты Левитского и Екатерины Захаркив).

Насколько эти текстовые и визуальные «лаборатории» подходят для конструирования политических отношений, радикально отличающихся от сегодняшних, покажет время.

Влад Гагин



ЛЕВЫЕ ИЛИ ПРАВЫЕ: КТО ПОБЕДИЛ ПО ИТОГАМ XX ВЕКА

В новой статье Иван Кудряшов отвечает на вопрос о том, кто победил по итогам двадцатого века, и критикует победителей.

Не так давно мне попала на глаза статья об оксфордском экзамене All Souls College, в которой были приведены вопросы за один год. Самый первый вопрос всерьез меня заинтересовал, так как был сформулирован не редкость провокационно: «Кто победил по итогам XX века, левые или правые?».

Ответить на этот вопрос без какой-либо ангажированности практически невозможно, поэтому я сразу выложу карты на стол. Я долгое время считал себя последовательным сторонником левых идей, пока не стал обнаруживать явное смещение дискурса левых — с проблем трудящихся и вопроса о более справедливом распределении в обществе на тематику любых видов дискриминации и неравенства. Со временем я стал глубоко разочарованным левым, не испытывающим симпатии к значительной части леваков. Не потому что я фанат дискриминации, а потому что теория и опыт показывают необходимость конкретной борьбы и солидарности, а не речей «за все

хорошее, против всего плохого» (увы, «достижения» новых левых ярко демонстрируют, что слишком широкая тема дискриминации размывает и смысл, и направленную деятельность). В некотором отношении вместе с вопросом о том, кто победил, я хочу обратиться и к вопросу о том, какой была цена этих побед и чем они обернулись сегодня.

Однако прежде чем приступить к этому вопросу, стоит вспомнить, что левый и правый спектр в политике — это вещь не сама собой разумеющаяся. По большому счету «левый» — это тот, кто исторически связан с очень сложной системой идей и политических течений (от либерализма Нового времени через социалистические теории к целой палитре направлений: коммунизм, маоизм, левый центризм, троцкизм, зеленые партии и т.д.). Но связь эта может быть очень разной, поэтому стоит определить, что обычно понимается под левыми в США, Европе и у нас.

В США исторически не было классических левых (социалисты и коммунисты), поэтому левая часть спектра здесь определяется не названием или историей партии, а идеологией/программой политика. В целом наиболее ощутимо левые и правые здесь выделяются по отношению к государству: левые — за расширение вмешательства государства и федеральных служб, правые — за большую автономию граждан и штатов. Именно поэтому, говоря о США, почти невозможно разделить левых и (нео)либералов — все они в той или иной степени ориентированы на глобализацию

и участие государства в образовании, культуре, природопользовании и многих других вопросах (которые традиционно были в ведении общин или штатов). В этом контексте все движения против дискриминации, демократическая партия и даже часть республиканцев — это по американским понятиям «леваки». В каком-то смысле появление альт-райтов — это род реакции на сужение правого спектра.

В России, напротив, исторически левые почти идентичны социалистам марксистского толка (и почти всегда с ориентацией на интернационализм). Поэтому до сих пор левый спектр — это прежде всего те, кто представляют интересы пролетариата (работников наемного труда) плюс весомой части социально незащищённых. Как несложно догадаться, в чистом виде левые у нас — это небольшие, незарегистрированные партии, однако популисты катаются тоже в основном на левой тематике (по сути, к таким популистам можно отнести вообще все зарегистрированные партии России, кроме откровенно либеральных). Никаких классических правых консерваторов в нашей политической системе не сложилось, поэтому их место занимают либералы. Однако по большому счету отечественные либералы являются компрадорами, и поэтому если они и правые, то только потому, что отражают интересы части капиталовладельцев (финансовый капитал, ориентированный на экспорт), а не наемных рабочих.

В Европе левых и правых достаточно сложно разделить, так как в каждой стране свои традиции (бо-

лее-менее схожи только страны бывшего Восточного блока). Впрочем, за вычетом нескольких регионов (Великобритания, Финляндия, Греция, Восточная Европа) типичным представителем левых в Европе считают социалистические демократические партии. И поэтому левых можно определить как сторонников социальных программ, а вместе с этим и вмешательства государства в культуру и частную жизнь граждан. В последнем они схожи с американскими левыми. Соответственно, умеренно-правые и центристы — это те, кто больший акцент делают на экономическом развитии (вне зависимости от платформы). У циничных французов даже есть шутка на эту тему: мол, мы голосуем за социалистов только потому, что они раздают деньги, а когда деньги заканчиваются, мы голосуем за правых, чтобы они вновь их накопили.

Из этого короткого экскурса важно зафиксировать разницу: между левыми в США и Европе есть некоторое сходство, но сказанное о них будет в очень малой степени относиться к нашим реалиям. За одним исключением: там, где речь идет об отечественной культуре и искусстве, а не о политике, пересечений будет чуть больше.

Итак, если попробовать ответить на вопрос «Кто победил по итогам XX века, левые или правые?», то начать нужно с того, что любой ответ будет бессмысленным без анализа критериев «победы». Что же можно считать за победу?

В первую очередь, конечно, представляется, что под победой стоит понимать влияние и политический вес. Этот взгляд подсказывает очевидный ответ: победили левые. Посудите сами, в конце XIX-начале XX вв. это были в большинстве случаев маргинальные или запрещенные партии (а часто просто некие силы со слабой организацией). Спустя столетие они стали частью истеблишмента западных стран, у них свои лидирующие партии как в первом, так и во втором и третьем мирах (и речь идет не об однопартийных системах). То же самое касается и многих выдающихся политических лидеров прошедшего столетия: они либо были связаны с левыми партиями, либо представляли их. Например, ставшие едва ли не иконами — Че Гевара или Нельсон Мандела (состоял в Южноафриканской компартии).

И эти примеры позволяют отметить другой аспект: культурное влияние. Куда как большей победой стоит считать тот факт, что осязаемая часть ценностей левых стала общепринятой. Сегодня именно с левой (или леволиберальной) идеологией обычно ассоциируются демократия и гуманизм. По сути, самая главная победа левых в XX столетии — это моральная победа в области языка и культуры. В наши дни в первом мире быть открыто правым во многих обществах попросту стыдно или означает множество проблем, в том числе юридических. Открыто правого легко подвергнуть диффамации, обвинив в симпатии к фашизму, а это, напомним, в ряде стран вещи уголовно наказуемые

(речь идет о законах, связанных с запретами на отрицание Холокоста, ревизию нацизма и результатов второй мировой, определенную символику и т.д.). Значительная часть правого сектора теперь ассоциируется с чем-то некультурным и ретроградным.

На этом фоне правые могут похвастать лишь тем, что время от времени правые лидеры (как авторитарные диктаторы в Сингапуре или Южной Корее, так и демократически избранные политики вроде Тетчер) с помощью крутых мер наводили порядок в экономиках своих стран. Впрочем, даже эти достижения сомнительны, так как почти целиком опираются не на детальный анализ факторов успеха, а на изобильные славословия от сторонников (с замалчиванием примеров, где почему-то не получилось: например, в Латинской Америке).

Казалось бы, вопрос решенный. Однако, если вдуматься во все приобретения левых, можно увидеть диалектический процесс, состоящий также из потерь и, более того, приобретений, которые обращаются в ограничения. Возможно, именно эти потери гораздо серьезнее, чем достижения и победы.

Даже бросив поверхностный взгляд на сегодняшнюю ситуацию, мы увидим, рост консолидации правых (почти как у левых, когда они были маргинальны). Сегодняшний Интернационал левых будет аморфным собранием людей, которым либо уже ничего на надо, либо, напротив, требуется слишком много (а именно — глубокая перестройка культуры и психологии людей).

Интернационал правых, прежде казавшихся несовместимыми — почти реальность. Или уже состоявшийся факт. При этом речь идет не только об альт-райтах и европейских националистах, но и о какой-то части правого истеблишмента.

Проблема еще и в том, что смешение морально-го и политического дискурса у левых — это отнюдь не достижение. Это откат назад, сулящий проблемы. Вместе с доминированием в культурном дискурсе левые получили власть, а власть — всегда искушение. Сегодня это уже проблема левых, которую придется однажды признать. Проявляется это в потере критичности, насаждении толерантности и других ценностей довольно авторитарным стилем. Для целого ряда авторов, коих никак не заподозрить в симпатиях правым (например, Славой Жижек), американские леваки стали едва ли не синонимом догматизма, неспособности к самокритике и двоемыслия. Увы, в данном случае речь идет не о «дыме, что не бывает без огня», а о настоящем пожарище — например, о так называемых *social justice warriors*, которые как-то очень странно поняли идею борьбы с дискриминацией (а именно как необходимость превентивно унижать и дискриминировать всех, кто относится не к меньшинству).

Особой иронией звучит и то, чем закончилась попытка левых бесконечно кататься на теме морального превосходства. Она закончилась тем, что противники и даже часть сочувствующих выработали иммунитет к обвинительной риторике. А американские альт-райты

и вовсе запустили в интернете моду на откровенный игнор любых попыток морального осуждения. Это порождает бессилие и падение качества дискуссии, причем ошеломительно резкое падение. Уже сегодня американские пулитцеровские лауреаты, наплевав на Закон Годвина, ведут такие речи, что сходу и не отличишь от типичного имиджборда.

В каком-то смысле успех левых в XX веке был слишком стремительным: за такое время нельзя изменить общество, его ценности и устои. В итоге происходит то, о чем предупреждали классики — «разрыв с народом» и стремление не замечать реальность.

Меж тем, если позволить себе критичный взгляд, то даже факты истории, которые, как кажется, вписываются в общую канву победного шествия левых, на деле вызывают большие вопросы. Хороший (но не единственный) пример — американские чернокожие левые. В 40–70-е это очень мощная молодая культура, набирающая обороты, которая не только активно боролась за права пролетариата, но и породила некоторую моду на черных борцов за справедливость. Как же случилось так, что в 80–2000-е черные стали ассоциироваться по большей части с криминалитетом, а не с пафосом свободы и равенства? Этот факт бросает большую тень на всех американских левых, как бы мы не проинтерпретировали эту эволюцию. Если так вышло само по себе, значит целый ряд тезисов левых (например, о самоорганизации масс, классовой солидарности, культурно-просвещенческой активности

пролетариев) — нежизнеспособны. Если же это стало следствием чьих-то сознательных проектов, то за ними, получается, скрываются некие всемогущие правые (которые буквально добились своего не прямым, так косвенным способом — вместо прямой пропаганды о черных как насильниках и ворах теперь сами черные через поп-культуру втирают этот образ). Как ни странно, но вместо осмысления и работы над ошибками, большая часть левых теоретиков сегодня склоняется к простым и неправильным ответам в духе конспирологии (да, всемогущие правые существуют), обвинения масс (массы не понимают наших ценностей) и утопий (например, цифровой утопии, которая почему-то не наступает).

Яркий пример такого теоретического вытеснения — это попытка левых объяснить, почему «хорошие Сети» вдруг начали работать на «плохие идеи» (популярность Трампа, Брексит). Например, об этом рассуждает Герт Ловинк, даже не замечая, что прямым текстом признает: тенденцию к глобализации и управляемости сетей инициировали именно лево-либералы. Может быть, нужно было лучше осмыслить возможности сети, прежде чем пользоваться ею как оружием? Нет, даже намек на рефлексию не наблюдается.

Так что по большому счету левые победили в XX веке, но рискуют (если уже не) потерять инициативу и смысл собственного существования в веке XXI. Веке, начало которого ознаменовано сильнейшей тенденцией уйти от мультикультурализма и постмодерна (по сути,

левых идей) в сторону традиции и порядка в поисках своей идентичности.

В этом смысле левые слишком быстро и легко прижились со всеми последствиями капитализма. Чего ж теперь удивляться: как говорится, что растили, то и выросло. Поздний капитализм нашел золотую жилу в лице проблемы идентичности. Вот вопрос, которым современный человек не перестает задаваться, а значит, не перестанет и потреблять, если убедить его в связи одного с другим. На этом фоне совсем не удивительно, что какая-то часть общества заняла консервативную позицию в отношении своих идентичностей (это ведь точная аналогия с лояльностью бренду: не буду я пробовать новое, если меня устраивает старое, а уж тем более, если пытаются к новому принудить).

Левые идеи действительно расширяют пространство возможностей и требуют от нас чего-то большего, но не стоит забывать и о том, что люди консервативны не только в силу внешних условий (общество, культура), но и по самой природе. Люди — территориальные и статусные животные. Именно к правым ценностям стоит отнести все, что опирается на локус, коллективизм естественного типа (семья, район, народ), элитарность, верность себе и своей идентичности, культурный консерватизм (не ретроградство, а скепсис/осторожность в отношении нового в обществе и технологиях). Мне кажется, это как раз те вещи, в отношении которых радикализм, нахрап и желание «все снести, чтобы поверх построить новое» — не только

неуместны, но работают строго против всякой левой идеологии. Старые методы больше не сработают (да-да, Гегеля и Маркса нужно было читать в колледжах). Способны левые изобрести ответы на вызовы нового века? Боюсь, пока никто не может ответить на этот вопрос — вопрос, от которого зависит будущее всех нас.

Иван Кудряшов

конспект



СОЦИАЛИЗМ КАК ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Светлана Ковалёва — о переосмыслении и разночтениях образов социализма в работах Ванга Гуанги, Лью Болина, Эрика Булатова.

Произведения Ванга Гуанги, Лью Болина и Эрика Булатова сложно представить в одном выставочном пространстве. Эти авторы работают в разных стилях и направлениях, но их объединяет, с одной стороны, то, что все они — из стран с социалистическим режимом, а с другой стороны, то, что в своих работах они используют образы и методы, которые так или иначе с этими режимами связаны формально или стилистически. Из своих однозначных, утилитарных пространств образы социализма перекачиваются в многополярное пространство современного искусства, где трансформируются в составные части сложного целого.

Борьба и единство противоположностей Ванга Гуанги

Социализм, кроме всего прочего, — это вещественный, предметный мир, который стилистически маркирован однозначным образом. Человека социалистического окружают вывески, плакаты, символы, которые

сделаны для привлечения внимания и должны визуально удваивать действительность, создавая, бесконечно умножая и транслируя изображения, которые ее представляют и направляют в нужное пропаганде русло. Извлеченные из повседневной социалистической действительности и помещенные в другой контекст, эти изображения приобретают для внешнего зрителя, с одной стороны, некоторую степень обобщения (такими мы видим социалистические Китай, Кубу или СССР), а с другой, становятся репрезентативной картинкой социалистического образа жизни, а затем — материалом для «вторичного осознания» в новом художественном целом.

Для создания серии «Великий критицизм» китайский художник Ванг Гуанги, основатель течения «Политический поп-арт» (конец 80-х годов), работает с двумя видами идей предметов: его картины отсылают зрителя одновременно и к пропагандистским плакатам Культурной революции, и к продуктам потребления западной цивилизации: Marlboro (1990), Pepsi (1992), Coca-Cola (1990–93), Prada (2003), Rolex (2003), Gillette (2004), Dell, Dior (2005) и т.д.

Все изображения построены по одному и тому же принципу: использование двух, трех, редко — четырех «базовых» цветов, чаще всего с превалированием желтого, черного и красного, схематичные фигуры борцов революции и логотипы западных марок. В бесконечном ряду относительно однородных форм время от времени появляются инварианты — торговыми

брендами неожиданно выступают Pop-Art (2005), Warhol (2005) и Rembrandt (1990). Картины покрыты по всей поверхности плохо отпечатанными черными и белыми рядами цифр. Для каждой — свой повторяющийся ряд (например, для No Prada — это черные 67890 и белые 34512). Эти цифры формально завершают изображение, «сшивают», объединяют две его части в одно целое, превращая в товар.

За исключением картин, где в пространство вписано «NO» — No Parker (1998), No Time (2002), No Prada (2003), No Rolex (2003) и т.д. — логотипы располагаются сверху или внизу, и без комментария между изображением и логотипом противоречия нет. Рабочие, солдаты, крестьяне, демонстранты вполне могли бы рекламировать западные бренды, если бы название произведения не объясняло зрителю, что это «критицизм».

Бесконечное повторение созданных по одному и тому же принципу картин отсылает нас к идее серийности производства и распространения, которые соприродны как социалистической, так и капиталистической политическим моделям. При этом соединение двух иконографических систем в одном целом является открытым для интерпретации.

Например, «Великий критицизм» Ванга Гуанги можно рассматривать как иронию: борьба социализма с западными ценностями в ситуации, когда методы борьбы абсолютно идентичны, а сама картина принимает форму и агитплаката этой борьбы, и товара. Эту идею

еще в большей степени развивает серия «Малый критицизм», где ирония становится более откровенной: вместо логотипов известных марок мы видим продукты питания: бананы, курицу, зеленый горошек и т.д. При этом появляется третий элемент — текст с утверждением, что Ванг Гуанги родился в 1956 году в Харбине, и вопросом: «Является ли Ванг Гуанги величайшим художником современного искусства Китая?»

Работа может рассматриваться и как глобальная критика китайской политической системы, основанной на социализме и рыночной экономике, где образы социалистической борьбы вполне «уживаются» с образами общества потребления, а заявленная «борьба» на самом деле оказывается мирным сосуществованием.

Серийный протест Лю Болина

Лю Болин — современный китайский художник, который много выставляется в Европе, его отношение к образам социализма в их предметном качестве является иным, более дистанцированным: красный флаг с серпом и молотом, красный цвет или фотография торжественного парада присутствуют в его работах наравне с другими образами — бесконечными прилавками супермаркетов, театральными креслами и т.д. При этом идеи серийности, протеста и общества потребления становятся основными и получают свое развитие на другом уровне, отсылка становится не прямой.

Самые известные и узнаваемые произведения Лю Болина — это автопортреты, где автор «вписан»

в пейзаж, на фоне которого он позирует, оставаясь при этом полупрозрачным, полувидимым. Чаще всего артист находится в центре фотографии — застывший в нейтральной, ничего не добавляющей к сюжету позе, с закрытыми глазами. Принцип создания изображения всегда остается неизменным: Лю Болин раскрашен в цвета фона, на котором позирует.

Первое произведение серии появилось в 2005 году как результат акции протеста против разрушения китайскими властями его мастерской (а также мастерских сотни других художников) для возведения на этом месте сооружения для Олимпийских игр 2008 года. С тех пор Лю Болин стал перемещаться, «вкрашиваясь» в другие общественно-значимые сюжеты, привлекая к ним внимание и обобщая тему до «потери индивидуальности в коллективной идентичности». Его присутствие в том или ином пространстве — это уже изначально заданный контекст прочтения изображения: художник сливается с тем, против чего протестует, к чему хочет привлечь внимание.

Идея «одинаковости» и серийности в данном случае двуполярна. С одной стороны, персонаж Лю Болина — это такой же человек, как и все, но который при этом солидаризируется с другими, выступая против проблем, которые считает общими. С другой стороны, художник задается вопросом о месте человека в современном обществе потребления, его растворении в этом обществе, контурном, схематичном существовании. Это человек, который поглощен цивилизацией,

ее условностями и предметами, такой же, как другие — аноним. Но именно здесь возникает противоречие. Проект Лью Болина — авторский: это именно он, художник, перемещается в «болевы́е точки» пространства, превращается в анонимного персонажа, а метод создания изображения — его визитная карточка, марка, продукт рынка культуры. На выставке в Европейском доме фотографии зрителям предлагается видеоролик, который объясняет, как именно создаются произведения Лью Болина — то есть то, что Борис Гройс в своей статье «Искусство в эпоху биополитики» называет «художественной документацией». Парадокс при этом заключается в том, что помимо документальной фиксации процесса создания изображения на фоне сейфа банка — сюжета, который в эстетике Лью Болина носит, безусловно, критический характер, — мы видим и рекламу банка, предоставившего пространство для воплощения произведения. То есть «художественная документация», информируя зрителя о том, «как это сделано», при этом размывает и удваивает смысл: произведение, которое обличает общество потребления, становится товаром, а протестующий автор — залогом его известности и публичности.

«Живу — вижу» Эрика Булатова

Для российского художника Эрика Булатова соцреализм и социалистическая реальность не являются ни объектом для критики, ни пародией. Они вписаны в пространство и время художественного экспери-

мента, автор создает портал, через который зрителю предлагается попасть внутрь произведения. Советские лозунги, символы, фотографическая точность изображений являются при этом пластическим материалом для осуществления такого перехода.

Советская система создала набор художественных средств, которые должны были читаться однозначно, и отклонение художника от этого набора приравнивалось к политическому жесту отступничества. В книге «Соцреализм и реализм» А. И. Морозов приводит в пример случай, когда вице-президент АХ СССР Ф. Л. Решетников при посещении Третьяковской галереи увидел картину Виктора Попкова «Воспоминания. Вдовы» (1966) и сразу же позвонил в ЦК КПСС. В его понимании, картина не соответствовала тому, как следует представлять советскую действительность. Красный цвет, которым написаны вдовы, действительно был использован художником иначе, не так, как этого требовали правила соцреализма, поскольку этим цветом были выделены фигуры трагические.

Красный цвет у Эрика Булатова не является ни прямой отсылкой к пропагандистской эстетике, ни протестом против нее. Это, с одной стороны, цвет предела, границы картины и ее внутреннего пространства, а с другой стороны, — яркий цвет, который маркирует переход, привлекая к нему внимание зрителя. Например, по замыслу автора, персонаж картины «Прыжок» (1994), который пытается «выпрыгнуть» из картины в пространство зрителя, закрашен красным в тех

местах, которыми он «разбивается» о непреодолимую для него границу, а в картине «СЛАВА КПСС» буквы являются чем-то вроде забора, который загромождаёт зрителю вид неба, опять же, материализуя плоскую поверхность — границу изображения. Наиболее показательной в этом отношении является картина «Вход — входа нет», где буквы «вход» создают перспективу, «уводят» зрителя вглубь картины, в то время как надпись «входа нет» на переднем плане парадоксальным образом загромождаёт этот вход.

В своей статье «Моя картина и массмедийная продукция» художник поясняет: «Мои картины «СЛАВА КПСС», «Советский космос» — не политические плакаты. «Добро пожаловать» — не реклама ВДНХ. «Прыжок» — не клип и не «под видео», теле и т.п. «Сельская дорога», «Окно» — не фотооткрытки. Хотя, конечно, мои картины похожи на свои массмедийные прототипы. Они прикидываются полухудожественной анонимной продукцией, но всегда оказываются картинами, настоящими картинами в классическом смысле этого слова».

Художник предлагает зрителю попасть внутрь картины, следуя созданному им «проходу» и принимая при этом условность, которая без «художественного документирования» (в данном случае — авторского текста) не может быть прочитана с полной определенностью. Для того, чтобы зритель попал внутрь, социалистические образы и символы должны потерять для него свое наполнение, стать безоценочными конструктами, которые маркируют пространство.

Мой социализм

И для Ванга Гуанги, и для Лью Болина, и для Эрика Булатова образы социализма — это прежде всего личный прожитый и визуальный опыт, который присутствует в их работах в той или иной степени критического осмысления. Это «не чистые», трансформированные образы, которые теперь уже «живут» в современном художественном целом не изолированно. Зрителю, какой бы ни была его политическая позиция, предлагается самостоятельно оценивать соотношение правого, левого и/или аполитичного в этих работах, опираться или нет на «художественную документацию», восстанавливать или игнорировать исторические привязки. Образы социализма в этих произведениях не являются в чистом виде воспоминанием для «внутреннего» зрителя или экзотическим переносом для «внешнего», они — материал художественного высказывания в современном мире, где правое и левое постоянно меняют направление.

Светлана Ковалёва



Илья Семёнов поговорил с писательницей и общественным деятелем Алиной Витухновской о левой и правой идеологии, ксенофобии, действующей власти и о современной российской литературе.

По словам редактора «Стенограммы» Влада Гагина, интервью с кандидатом в президенты в политическом номере журнала — это must have. И пока Юрий Дудь препирался с Ксенией Собчак, Илья Семенов обсудил проблемы левой и правой идеологии с другой женщиной-кандидатом — писателем Алиной Витухновской, заявившей о своем выдвижении в президенты гораздо раньше Собчак.

АЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ: Перед беседой я думала, о чем бы мы говорили пять или десять лет назад. Мне кажется, что мои взгляды не менялись, но очень сильно изменилась терминология и ее восприятие. Поэтому я написала предварительный текст, в котором хотела подвести, собственно, нашу концепцию — концепцию Республиканской альтернативы и мою политическую позицию под эти устаревшие определения. С этого текста можно начать дискуссию:

Если рассуждать в рамках устаревших идеологем, то я могу назвать себя праволиберальным политиком. При этом следует отметить, что идеология как таковая уже не является эффективным инструментом, а апелляция к массам (как основа левой идеи) и собственникам (базис правой идеи) сейчас также не работает, ибо нет масс в их старом понимании, но остались собственники, зависящие не столько от общества в целом, сколько от конъюнктуры рынка, который они сами же и создают. Поэтому может показаться сегодня, что правые (то есть сторонники собственнического подхода) снова на коне. Касаемо консерватизма, приписываемого правым — это достаточно спорный аргумент, тем более в эпоху стремительно развивающихся информационных технологий, грозящих человечеству ужасом осознания через создание искусственного интеллекта — прежде всего как способа посмотреть на себя со стороны без эмоций и лишних рефлексий.

То есть консерваторы по сути левые. И сталинский и гитлеровский режим сейчас были бы названы именно левыми, а не правыми. Майн Кампф — чистая анпиловщина. Консерватором можно назвать и Трампа, но Трамп — постмодернистский персонаж, политик-трэшер, inferнальный клоун, для него идеология вторична или же является формой подачи собственного образа. В принципе времена идеологий канули в прошлое. Говоря о демократии, либерализме и прочем, мы имеем дело с некими условными общественными договорами, а не с каким-то незыблемым сводом правил.

В целом же правая культура, даже скорее уже субкультура — это целиком и полностью спектакль, косплей, карнавал несбывшихся надежд. Мы выступаем за собственников и в целом за либеральный подход к несобственникам (если так можно выразиться) — ну к тем, кто не хочет по разным причинам быть собственником, нести на себе груз ответственности и прочее — поэтому мы и предлагаем БОД, в том числе и для тех, кто не хочет быть частью общества в качестве производительного винтика.

Мы в своей политической концепции сочетаем «приятное с полезным», то есть прежде всего здравый смысл и комфорт, а различные идеологии и термины из прошлого типа правый-левый — это для историков и книжных червей. И если кто-то и называет ту же инициативу БОД — левой, то мы ему говорим, что она по сути своей есть апогей либерализма, констатация отмены принуждения к труду. Свобода в её изначальном денежном выражении, открывающая путь человека в общество сознательного выбора, а не потребления — как любят говорить так называемые «леваки».

Между тем, левая тема в старом её понимании — это так или иначе способ обслуживания массового бессознательного, к числу сторонников которого мы ну никак не относимся — а напротив, всячески ей противостоим на всех уровнях — от экономического до идеологического.

ИЛЬЯ СЕМЁНОВ: Тут сразу очень много тем, даже не знаю, с чего начать. Но давайте вот за БОД зацепимся сначала тогда. Потому что идея безусловного основного дохода, конечно, выглядит чрезвычайно левой, подразумевая некое равенство для всех, причем абсолютно безусловное. Просто у меня такое ощущение сложилось, что для вас левые — это что-то прям плохое.

АВ: Так оно и есть в общем-то, да, я не воспринимаю левых.

ИС: А почему?

АВ: Я полагаю, что на западе левые воспринимались бы мной совсем иначе. Хотя тоже с очень большим скепсисом, но более позитивно. Но наши левые... ну это что — это коммунисты? Это Удальцов? Сразу хочется сказать: левый — значит глупый.

ИС: То есть вы именно про российскую почву?

АВ: Я думаю, любой политолог, человек, который интересуется политикой, скажет, что в России определенным образом воспринимаются эти понятия, а на западе другим образом, нет никакой общей договоренности по поводу каких-либо понятий, поэтому тогда уж надо точки над *i* расставлять в процессе.

ИС: Это так, да. Но у вас одна из частей программы говорит о евроинтеграции. И в контексте этой евроинтеграции интересно, какое из существующих устройств западных стран вам кажется наиболее приемлемым для России?

АВ: Первое, что мне приходит в голову — это, конечно, Германия, потому что это страна, в которой наиболее комфортно и в которой все устроено максимально идеально по сравнению с тем, как это происходит у нас. Но я знаю, что мне возразят, что там Ангела Меркель с промигрантской политикой, что там засилье мигрантов, что местным жителям очень плохо... Честно сказать, я не слышу от местных жителей того, что им плохо, кроме русских. У меня такое подозрение, что проблемы с антимигрантской риторикой очень раздуты местной пропагандой и самими русскими, точнее постсоветскими, людьми, которые автоматически идентифицируют себя с мигрантами, и чтобы чувствовать себя чуть получше, они становятся правыми вот в том плохом смысле, который следует преодолеть: правыми, как это было в девяностые годы — скинхеды и все такое прочее.

Они хотят сказать: ну мы-то белые. Хотят таким образом почувствовать свое превосходство. И я действительно считаю, что эта проблема есть, но она сильно переоценена. Исходя из своего опыта, просто я часто там бываю, меня там переводят, я бы ориентировалась на ту же Германию. В принципе я бы ориентировалась на всю Европу. Я думаю, что американский опыт прекрасен, но он нам не подойдет в силу имперских традиций. Все хорошее, что там есть, мы извратим и используем по-своему. Американцы могут позволить себе быть патриотами при их уровне жизни, а наш патриотизм превращается в так называемое ватничество. Я считаю, что нам лучше ориентироваться на Европу, на Германию.

ИС: Но вот, например, Германия в отношениях с мигрантами, мне кажется, демонстрирует как раз очень левую политику, которая, возможно, у кого-то вызывает недовольство. Идеи, что все люди, независимо от того, как они выглядят, одинаковы — это же все-таки скорее левые идеи.

АВ: Германия вынуждена пропагандировать такую позицию в силу своей истории, в силу того, что после Второй мировой войны они столько извинялись за свои преступления, и, собственно, правильно делали. Я считаю, что уже извинились, и дальше извиняться некуда, но это их право вести такую политику, и это их историческая позиция, она совершенно нормальная, ее нельзя осуждать и оценивать как левую или правую. Это позиция не идеологическая, это позиция моральная.

ИС: Просто на фоне этого отношения к мигрантам, то отношение к ним, которое мы зачастую видим здесь, в России, это абсолютно другой полюс, мы можем не называть это правым и левым, но, тем не менее, это так. И мне кажется, Россия сейчас выглядит и без того достаточно правой страной. Вы так не думаете?

АВ: По отношению к мигрантам в обществе или по отношению к мигрантам государства и государственной политики? Это две совершенно разные вещи. В обществе не любят мигрантов, это совершенно открытая ксенофобия, презрение к таджикам и прочее. В первую очередь не из-за каких-то националистических мотивов, а, прежде всего, по экономическим причинам.

ИС: Подождите... вы думаете, что ксенофобия по отношению к мигрантам связана с тем, что они рабочие места отбирают?

АВ: Нет, не отбирают — но государство намеренно создало такие условия.

ИС: Просто у меня такое ощущение, что вот эта ксенофобия, которая по отношению к мигрантам существует, она больше завязана как раз на том, что они раздражают... По крайней мере, в больших городах (я не могу сказать, как это происходит в провинции).

АВ: Раздражают как, кого и чем?

ИС: Они ощущаются, как мне кажется, изнутри неким инородным элементом.

АВ: Только в определенных прослойках. Это прослойки как раз такие же низшие, как выглядят отно-

сительно коренных мигранты. Так же выглядят относительно условных интеллектуалов какие-нибудь скинхеды. Ну да, какого-нибудь скинхеда, наверное, это раздражает. Надо определиться, о какой среде мы говорим.

ИС: Я говорю вот о какой среде: любой большой город-миллионник. Конечно, в основном Питер и Москва, где эта проблема наиболее остро стоит, и любой спальный район обычный, в котором за последние лет пятнадцать довольно сильно изменился состав населения, и люди, которые в этих районах живут, живут давно, они не очень хорошо к этому относятся. Насколько мне приходилось разговаривать с этими людьми, их беспокоит не то, что узбеки отнимают у них работу, на первый план выходит именно ксенофобия — они их боятся.

АВ: Я рационалист и материалист, я исхожу из того, что люди боятся потери денег или работы. Даже, допустим, если рассуждать, как рассуждаете вы, они их боятся, потому что это связано с преступностью и непредсказуемостью их поведения. Отчасти есть такое, да, но получается, что власти выгодно засилье мигрантов, поскольку им невыгодно оплачивать и расплачиваться, обеспечивать права собственного населения, а народ, который это не устраивает, с ваших слов, он официально эту позицию не оформляет. Если он заявляет ее как-то маргинально, как те же скинхеды, политически мы не можем это брать всерьез, это относится скорее к области преступности, чем к политике.

ИС: Да, и, по-моему, сейчас проблема со скинхедами остро не стоит.

АВ: Ну да, не стоит, это просто такое утрирование, чтобы было понятно, о чем идет речь. На самом деле проблема приезжих решается принятием одного-двух-трех законов. Дело в законодательстве и правоприменительной практике, а не в конкретных людях, конкретных таджиках, которые сюда приехали. Государству, повторюсь, выгодна такая ситуация. Государство не хочет общаться со своим населением как с субъектом права, государство не хочет обеспечивать их нормальной работой, оно не нуждается в собственном населении, это очевидный факт, вопрос только в том, что сами мигранты в этом не виноваты.

И, кстати, если вернуться к одному из пунктов нашей программы — рефедерализации: власть не должна быть сосредоточена только в центре. Власть, деньги, работа и все остальное, все выгоды, которые сосредоточены только в Москве и Питере, должны быть равномерно распределены. Если бы это произошло, естественно, такого притока мигрантов сюда не было бы, и вопрос бы решался автоматически. Здесь, повторюсь, дело не в людях, дело в законах и законодательном устройстве.

Я на всякий случай повторю, потому что постоянно рефедерализацию путают с распадом, с регионализмом, который очень маргинален и к которому она никакого отношения не имеет. Рефедерализация — это всего лишь передача каких-то полномочий, денег

и возможностей регионам, чтобы все жили нормально, а не только Питер и Москва, которые, если вернуться к началу беседы — засилию мигрантов, тоже уже не живут нормально. То есть ситуация москвоцентризма, которая сейчас есть, неудобна всем. Даже Москве.

ИС: Она, очевидно, удобна каким-то элитам.

АВ: Она удобна власти, но она неудобна людям.

ИС: Это абсолютно так, но у нас же есть законы, которые регулируют миграцию. Безусловно, они требуют доработки, но порой они не соблюдаются, то есть порядок регистрации, который принят хотя бы сейчас, просто не работает.

АВ: Всё, что касается мигрантов, работы здесь и так далее — всё это продается и покупается очень быстро. Это даже не вопрос законов — это вопрос так называемого здешнего уклада. Естественно, человек, который сюда приезжает даже на формально незаконных основаниях, он прекрасно понимает и знает, как, где и что можно купить, мы все об этом знаем.

Есть законы, а есть способ их применения или не применения, это то, что существует в России совершенно отдельно. У нас в принципе все законы нормальные, у нас и Конституция хорошая, но все это не соблюдается. Закон — это так называемая легальность, а легитимность — если совсем упрощать — это то, что происходит на самом деле. Вот в этом безумном медленном азиатском пространстве бюрократическом на самом деле происходит все то, что совершенно незаконно, но каким-то образом люди при этом

ссылаются на законы, на какие-то их части и так далее. То есть законы эти можно трактовать, как угодно. Все юристы, с которыми я общаюсь постоянно в последнее время, говорят только одно рефреном: то, чему нас обучали в институтах, здесь не работает. Законы были бы достаточно хороши, если бы они применялись согласно, извиняюсь за тавтологию, букве закона, а не привычкам бюрократов и народонаселения.

ИС: У меня есть ощущение, что способ применения законов, который мы хорошо знаем, если живем в России, это некая базовая черта любого государства, которое присутствует на нашей территории. Это есть сейчас, в каком-то виде это было в девяностые, и всегда было раньше. Если взглянуть в обозримое прошлое, то пренебрежение к законам и возможность законы как угодно менять — это какая-то присущая местности черта, как мне кажется.

АВ: К сожалению, Россия живёт по азиатским правилам, установкам, которые насаждались веками.

ИС: Просто есть такое ощущение... так же, как тотальное разделение на богатых и бедных. Когда есть очень маленькая прослойка, которая держит в своих руках все богатства и все знания о том, что в действительности происходит, и управляет политикой государства, и огромная прослойка всех остальных. С этим вроде бы попытались побороться большевики в 17-м году, но мы знаем, что вышло: на несколько лет всё перемешалось, но опять высвободилась эта тонкая прослойка богатых и влиятельных людей — и все

остальные. Сейчас, в общем-то, опять складывается та же самая система. Мне интересно, можно ли что-то с этим сделать.

АВ: Я думаю, да. Я не считаю, что это какая-то закономерность, что Россия, как модно говорить в определенных метафизических кругах, — черная дыра, сансарная нефтяная труба, где все возвращается на круги своя и бесконечно повторяется, и выхода из этого нет. Я как раз хорошо помню девяностые и вижу, что все было совершенно иначе: в девяностые сюда проник и европейский дух, и экономические реформы. Какими бы они ни были в исполнении, они все-таки были, они дали людям свободу — от свободы слова до свободы предпринимательства. Те же самые либералы-демократы, которых сейчас ненавидят и костерят, Гайдар и прочие, дали людям квартиры, об этом сейчас не принято говорить почему-то.

«Приватизация прошла неправильно», — говорят. Ну да, она произошла далеко не идеально, это были полубандиты-полуромантики, которые хотели чего-то дать народу, чего-то хотели поиметь себе, но возможность приватизировать квартиры, которая до сих пор не отменена, то есть частная собственность, которую мы очень ценим и уважаем, которая священна, была дана именно этими демократами. И было бы странно говорить, что этого не было только потому, что из-за прихода Путина, томатной гэбни, как я ее называю, и каких-то там архаичных консервативных идеологов к власти, всё вернулось на круги своя.

Надо еще учитывать, что люди, которые вовремя поняли, что здесь происходит, большей частью уехали, остались либо совсем принципиальные, либо люди, которые по финансовым причинам не могут отсюда выехать. Произошел все-таки отрицательный отбор, и мы имеем сейчас ситуацию с населением, которое по качеству хуже того населения, которое было в те же девяностые годы. Если сейчас посмотреть хронику девяностых: Белый дом, гражданское общество... это и было, кстати, гражданское общество, сейчас я его не вижу, кроме как среди молодежи — лет до 30 максимум. Все остальные люди очень архаичные, инертные, это люди, которые остались здесь благодаря тому отрицательному отбору, о котором я сказала. И вырисовывать какую-то объективную картину в связи с тем исторически кошмарным и перечеркнутым, возможно, историю России лет на пятьдесят вперед обстоятельством (с тем, что к власти пришел Путин), мне кажется, это неправильно, потому что Россия огромная и действительно очень медленная азиатская территория, но нельзя сказать, что она абсолютно безнадежна и в ней ничего не происходило. Просто в девяностые годы перемены можно было устроить куда как проще, потому что это был общемировой процесс после разрушения берлинской стены, после того, как все страны меняли свою политику. Естественно, это коснулось и России, была какая-то общая энергетика, которая ее касалась, были возможности, была приязнь Запада, которой нет теперь. Чтобы развернуть

всё хотя бы к тому, как было в девяностых, потребует-ся не пять-десять лет, как тогда, а куда больше, но это вполне реально, почему же нет.

ИС: То, что вы сказали, в действительности не отменяет того, что сказал я, потому что даже если взять частную собственность, квартирный вопрос, который тем или иным образом решился в девяностые и продолжает решаться сейчас — приватизацию для граждан все время продлевают — проблема остается. Всё не так однозначно, потому что есть, например, история с реновацией, которая сейчас широко идет в Москве, а затем может захватить всю Россию. А реновация — это что такое? Это когда у тебя твою частную собственность — твою квартиру, в которой ты живешь, забирают и вместо нее дают тебе что-то другое. Не есть ли это наплевательское отношение к частной собственности и откат назад куда-то?

АВ: Конечно, есть. Реновация — это антиконституционный акт, это противоречит той же самой приватизации, праву частной собственности, это абсолютно так. И насколько я знаю эту ситуацию, люди, которые вынуждены съезжать из своих пятиэтажек, вложили в эти квартиры много денег, как это принято в России: все же делают в квартирах какие-то шикарные ремонты за огромные деньги. В итоге эта несчастная квартира в пятиэтажке стоит куда больше, чем формально даже лучшая квартира в другом районе. Она стоит очень дорого, в нее люди вложили деньги, и выселять людей из какого-либо жилья, насколько мне

известно, по закону имеют право только в том случае, если это аварийное жилье и проживание в нем опасно для граждан.

ИС: Проблема в том, что признает или не признает его аварийным тоже государство. И не мне вам рассказывать, вы живете в Москве, вы представляете себе, что такое двушка в хрущевке на Таганке, где собираются сносить пятиэтажки, по сравнению с квартирой в монолитном доме в Люблино, которую вместо Таганки люди могут получить. Это свидетельство того, что все откатывается в ту же стандартную схему.

АВ: Вы сейчас ничего не опровергаете из того, что говорю я. Я говорю, что возможно вернуть ситуацию назад, только сменив власть, потому что эта власть уничтожила и уничтожает на ваших глазах все вплоть до, как вы упомянули, права частной собственности, хотя, как вы тоже сами упомянули, приватизация продлена и не аннулируется де юре. А де факто посредством реновации она аннулируется, и люди выселяются из своего жилья. Это следствие того, что мы живём при преступной власти, которую надо менять, которая все законы выворачивает под себя и для себя. Начиная от мигрантов, про которых мы говорили: на самом деле это действительно несчастные люди, полностью зависящие от государства, не способные заработать на своей родине, вынужденные ехать сюда. Здесь коренное население вынуждено их терпеть и делиться с ними деньгами и работой или испытывать какие-то страхи по этому поводу, но это

невыгодно ни коренному населению, ни мигрантам, это выгодно только власти, также и реновация не выгодна жителям, но выгодна власти.

Все, что происходит в нынешней России, не имеет никакого отношения ни к идеологии, ни, по большому счету, к какой-то метафизике, это просто беззаконье и распил, больше ничего, просто распил средств. Пока эта власть имеет возможность выводить деньги за границу, что она и делает, будет происходить то, что происходит.

Страна с ресурсной экономикой — это фактически страна третьего мира, а мы могли бы ей не быть, если бы развивались в стилистике девяностых, а не в путинской стилистике, когда рассорились со всеми. Мы здесь живем как в какой-то колонии, хотя колонией не являемся. Даже колония живет лучше, потому что у колонии есть статус и какие-то привилегии, а здесь люди живут как вообще не весть кто, не весть где, никто не настаивает на своих правах. И если не будет сменена власть, это все может длиться очень долго.

Но даже не это страшно, страшно, что когда все это обвалится, а оно обвалится точно, оно обвалится нам на голову. Власть выведет свои деньги, а люди-то, мы-то все останемся, структура останется. Те, кто говорит, что то, что сейчас происходит, похоже на ситуацию брежневских времен, в общем-то правы, сейчас происходит примерно то же. Только в Советском Союзе был какой-то ресурс и не было такой откровенной дикой и хищной наглости, как у этой власти.

Было понятно, что все это развалится, никто особо не сопротивлялся, все происходило в рамках общеисторического процесса, а теперь Россия выключена из общеисторического процесса. Что здесь происходит — черт ногу сломит, все эти политаналитики красиво говорят, но нет политаналитики, потому что нет политики.

Все как-то существует только за счет того, что очень большое пространство. Если бы то же самое происходило в какой-нибудь маленькой Швеции или Норвегии, то крах и развал, о котором мы говорим, был бы выражен очевидно, как в кино, когда показывают апокалипсис, начинают выбегать зомби, умирать люди — картинка есть. Здесь нет картинки. Или сегодня есть по телевизору, а завтра есть другая картинка, это все только за счет того, что пространство очень инертное, очень большое, и то, что происходит в кино, быстро. Или то, что произошло бы в маленькой стране, а здесь всё происходит медленно. Но это не отменяет того факта, что оно происходит, и я опять вернусь к тому, что если не сменить эту власть, оно так и будет происходить.

ИС: А как вы реально оцениваете свои шансы в этом смысле, в смысле легитимной смены простым демократическим способом?

АВ: Я не верю в сами выборы, никто не верит в выборы. Выборы — это медийный ресурс. И мы пытаемся им овладеть, как раньше телеграфом и телефоном. Просто если во времена Ленина действительно

шла помощь из-за границы финансовая, то сейчас это же только здесь изготавливаемые сказки про Госдеп. Нет никаких денег извне или практически нет, никакие политические проекты, которые спонсировались в девяностых или начале двухтысячных, не спонсируются, люди делают все на свой страх и риск большей частью из своих средств.

Может быть, кто-то делает на средства, выделяемые изнутри, потому что власть неоднородна. Томатная гедня и Кремль тоже неоднородны и вполне себе могут выделять деньги кому-то из оппозиционных деятелей на альтернативную повестку, это больше похоже на правду, чем деньги Госдепа.

Что касается выборов, повторяю, этой ситуацией, если она есть, необходимо овладеть, вот и всё. А почему ей надо пренебрегать? Из каких-то чистоплюйских побуждений? Говорить, что мы такие хорошие, мы все в белом, мы не будем пользоваться ресурсами ненавидимой нами власти? Власть очень хорошо пользуется людьми, чтобы делать всё, что угодно, поэтому я считаю, что мы тоже можем делать всё, что угодно, с ресурсами власти. Мы действительно сделали это всё «на коленке» из своих собственных средств, нас никто не спонсировал, и это вообще-то чудо, что мы заняли не самое последнее место в медийном пространстве, не имея никакого доступа в официальные СМИ. Это говорит не о нашей крутости, хотя, надеюсь, о ней тоже. Но в первую очередь о том, что это совершенно картонная страна, в которой нет идей, нет

персонажей, нет людей. А те, что есть, ничего не делают всерьез.

ИС: Но можно вспомнить, например, муниципальные выборы в Москве, которые прошли относительно успешно для оппозиции.

АВ: Проблема в том, что бытовой россиянин уже не интересуется выборами, как мы видим по низкой явке. Бытовой россиянин ими заинтересуется, когда у него абсолютно закончатся деньги и еда. А еда не кончится в крупных городах, она не кончалась даже во время войны, она утаивалась большевиками. На самом деле тот обыватель, на которого все ориентируются, такого уж прямо радикального значения не имеет.

Хотя из своих наблюдений за общением с простыми людьми, продавцами, теми же таксистами и парикмахерами, я могу сказать, что если еще два года назад, год назад, они были оголтелыми крымнашистами, теперь стоит им сказать что-то здоровое, они начинают думать, а потом уже соглашаться. В принципе они просто еще не готовы проговорить тот факт, что их не устраивает эта власть, но если кто-то проговорит это за них, то, возможно, они будут готовы проговорить это сами, а потом — постфактум — проголосовать против этой власти и за других кандидатов. Но опять же стоит сказать о том, что население стало, конечно, очень инертным и куда более консервативным, чем даже сама власть.

ИС: Если возвращаться к изначально заявленной теме, то можем ли мы сказать, что население стало

более правым? И вообще было ли оно левым когда-нибудь?

АВ: Нет. Население стало более советским. Вот советский человек — он же не правый, он скорее даже более левый, он социалист в таком устаревшем смысле.

ИС: Сложный замес, мне кажется, был в советской идеологии. Там очень много формальных левых признаков в том смысле, что вот эта одинаковая у всех зарплата и рабочие получают хорошо, не хуже, чем врачи, и действительно многонациональная страна — там не было проблем с миграцией, например... хотя проблемы нацменьшинств резко обострились в девяностые. Что мы знаем об этом в действительности? Какие там были признаки и левых, и правых настроений?

АВ: Я не могу назвать советского человека ни левым, ни правым, это вот были забавы интеллектуалов, каких-нибудь тех же Дугиных, Прохановых и так далее. По мне так они все либо левые, либо даже люди внеидеологичные. А всё, что взято Дугиным у немецких авторов и идеологов, всё так перевернуто с ног на голову... я, правда, читала это лет десять назад, но даже тогда было видно и даже непрофессионалу. Я уж не знаю, что про это скажет ученый, наверное, просто посмеется.

ИС: Дугин производит впечатление сумасшедшего.

АВ: Там все перевернуто! Я читала Карла Шмидта от начала до конца и у Дугина «Консервативную революцию». То, что он написал — там вообще нет никаких соответствий, просто какие-то фразы взяты и перевер-

нуты под свои странные идеи, которые, да, в девяностых выглядели радикальными и правыми, но, во-первых, это была постмодернистская эпоха, во-вторых, все было позволено, все было можно. Какой-то условный фашизм в здешней интерпретации был модным, а теперь это обнажило свою истинную личину: что мы получили под видом условно правого условно традиционализма, я даже не знаю, как это называть. Мы получили возвращение вообще не понятно во что, в какую-то эклектику, возвращение в Советский Союз, милитаристскую риторику, имитацию холодной войны, это даже не холодная война, это именно имитация, они это всё и придумали — эти идиотские проекты — Дугин и компания: все эти «новороссии».

Только это же все чистое безумие, которое действительно было зачем-то осуществлено. Зачем — непонятно. Из страны выжили, вынесли куда-то за пределы реальности всю современность. Кстати, у меня нет никакой ностальгии по девяностым, например, сейчас на них посмотришь — на какие-то картинки — они выглядят так же, как семидесятые в детстве, так же бредово. Но единственное, что я помню, что здесь был дух современности, что все, что происходило в Европе, происходило параллельно здесь, что здесь издавались модные журналы, сюда поступала всяческая модная музыка... нет, конечно, нельзя сказать, что сейчас нельзя ничего найти, найти можно все, на то есть интернет. Но журнального или музыкального бизнеса нет, потому что это не востребовано. Современность

перестала людям быть нужна, а если люди выключаются из современности, они выключаются из реальности и из истории, мы уже выключенная из истории страна.

Меня все время спрашивают: «С чего вас потянуло в политику? Вы же писатель». Так вот, в том числе и потому, что у писателя, как мне кажется, должны быть нормальные исторические амбиции. Русский писатель существовал в девятнадцатом веке, а сейчас Сорокин, например, он же не русский писатель, он европейский писатель, правильно же?

Естественно у человека амбиции быть напечатанным и переведенным везде, а нас просто перестали переводить. В Германии слависты — это небольшая группа людей, я их по большей части всех знаю, они просто перестали получать всяческие субсидии, параллельно у нас закрыли по большей части все фонды, которые спонсировали русскую культуру и русскую литературу, потому что они просто все рискуют быть названными иностранными агентами. Вот крымнашистских всяких организаций полно. Про крымнаш, про войну — это все можно издавать, а про все остальное, всевозможную интересную современную литературу — ну на это просто нет денег. Мы даже не можем сказать детям, есть она или нет.

В магазинах есть Прилепин, а что есть еще, мы не знаем, потому что мы же живем в коммерческое время. Может быть, есть миллион крутейших авторов, но мы ничего о них никогда не узнаем или случайно

увидим в интернете — эта возможность стремится к нулю. Нас перестали где-либо воспринимать, нас перестали где-либо печатать, мы, в общем, никому особо не интересны. И то, что здесь говорят: русская культура, русская литература — это не интересно миру, мир прекрасно проживет и без русской культуры и без русской литературы, здесь этого понимать не хотят, потому что ну это же скрепы.

ИС: Это отдельная тема, очень интересная и очень сложная, мне кажется. Тиражи книг в России, они, конечно, если вдуматься в них, абсолютно катастрофичны. Даже у Прилепина, который вроде известный писатель, тираж может достичь ста тысяч. Но сто тысяч это даже в Москве очень мало, а для всей России... это не капля в море, это просто ничто.

АВ: Дело даже не в тиражах, тиражи — это фетиш советских времен, все дело в том, что должен идти нормальный культурный процесс, взаимодействие не удастся расширить из-за политики. А Прилепин, Шаргунов... нормальным людям в той же Германии, им когда вот это всё привозят — как каких-то баранов, скотный двор, во Франкфурт-на-Майне... Они там ходят и друг другу читают свои псевдопроизведения. Во-первых, это просто невозможно читать, ни Прилепина, ни Шаргунова...

ИС: Шаргунов просто кошмарный писатель абсолютно.

АВ: Он вообще не писатель!

ИС: Ура!

АВ: Кто-то его когда-то протолкнул, и все делают вид, что это писатель, потому, что уже столько лет было сказано, что это писатель, что уже неловко: ну, писатель и писатель, да будь, кем хочешь, только не плачь. Ну как бы так.

ИС: Мне кажется, даже с Прилепиным его сложно сравнить, потому что Прилепин, ну все-таки...

АВ: Прилепин талантливый журналист, он все-таки писатель в штатском, что называется, у него есть мозг, то есть в рамках заданного дискурса понятно, какое место он занимает, а Шаргунова просто рядом поставили, уже вообще совсем смешно.

ИС: Я очень рад, что вы это проговорили, потому что мне всегда хотелось услышать это от кого-то еще, кроме себя.

АВ: С русской литературой происходит полный ад. Атмосфера замкнутого пространства. Опять-таки в девяностые годы я такого не встречала, и первый совершенно советский человек, которого я встретила, был тот же Шаргунов, это факт. Я сначала думала, что это он так все время шутит, что это такой постмодернистский прикол говорить про то, как здесь было хорошо. А это все по правде оказалось.

ИС: Он еще идеально это олицетворяет, потому что его отец священник, то есть все скрепы в нем зашиты, он такой советский православный человек.

АВ: Возможно. Другое дело, что это совершенно не работает за пределами России. Ну, вывезите вы этого писателя, даже не писателя, а его текст. Писателя

вывезти без вопросов — вежливые немцы или шведы его примут, люди-то все приличные, кто же ему там в лицо скажет «ты идиот»? Никто. А пусть его тексты оценит любой славист, любой литературовед, ну это же просто курам на смех.

ИС: Ну они ж все врут и хотят нас уничтожить, как вы не понимаете?

АВ: Конечно, только это «логика» геополитического пациента, который думает, что его уничтожают «враг», а на деле — он уничтожает сам себя.

Илья Семёнов

КАКАЯ РАЗНИЦА, КАКОГО ЦВЕТА У ТЕБЯ ШНУРКИ?

Кирилл Александров рассуждает об антропологии и трансформации политических убеждений, говорит о субкультурах, активизме, НБП, внутренних и внешних мотивах и, конечно, об осознанности.

Ты в любой момент можешь отвергнуть их условия,
ты в любой момент имеешь право умыть руки,
никто не запретил тебе играть по собственным правилам,
единственное, чего они не позволят — не принимать
участия в игре.

С. Жадан

Мне всегда было интересно, в какой момент мы, занимая определённую политическую позицию, отказываем другим в понимании и как бы автоматически приобретаем тем самым врагов и друзей, принципы и убеждения, принимаем те или иные правила. Как и когда это происходит, фиксирует ли человек этот момент? Ведь в дальнейшем зачастую от этого зависит круг общения, выбор литературы, угол зрения на происходящее в культуре — выбранный маркер начинает определять наши действия и ход мыслей. Мы затрагивали эту тему в первой части стартового обсуждения номера, теперь я бы хотел попытаться поговорить об этом более подробно (но, скорее всего, более сумбурно).

Возможно, в первую очередь стоит обратить внимание на момент так называемой «вторичной социализации», когда в подростковом возрасте человек выбирает из множества альтернатив — чем бы он хотел заниматься, какие люди ему интересны, как он хочет выглядеть (часто это вопрос звучит как «на кого он хочет быть похож?»), какая музыка ему нравится и т.д. Раньше (кажется, сейчас это не так или не совсем так) сделать выбор помогали субкультуры, предоставляющие, так сказать, «пакетные» решения, т.е. всё сразу: стиль одежды, арго, музыкальные предпочтения, политические взгляды, указывающие кроме всего прочего, кто и что тебе нравится не должно.

Помню Уфу двухтысячных — противостояние фа и антифа, неформалы, облюбовывающие лесные опушки, значки, скейтплощадки, «скашные» шашечки, бесконечные сейшены. И множество субкультур от условно классических «металлистов» и хардкорщиков-стрейтэджеров до гламурного фашизма, когда ребята с длинными крашеными чёлками и тоннелями в ушах клеили на лицо крест из чёрного скотча и самозабвенно зиговали на камеру. Эра интернета наступала стремительно — новые формы поведения и саморепрезентации появлялись уже не только благодаря гостям из Москвы и Санкт-Петербурга, активные сёрферы читали западные сайты и выкладывали переводы на форумы, кто-то придумывал и что-то своё, чаще всего гибридное, эклектичное.

Был, например, такой парень Мормо (звали его, кажется, Артём) — сначала он решил, что будет эмо. Одевался в чёрно-розовое, рисовал слезу под глазом, зачёсывал чёлку, грустил и даже снялся со своей девушкой в клипе про суицид. Но потом пришёл к выводу, что это всё не круто, и стал футбольным фанатом. Почему бы нет — побрил голову, переоделся в Lacoste (или пришил крокодильчика к тем же чёрным и розовым футболкам — так тоже делали), стал ездить на выезды, учился драться. В плеере Amatory и Never Smile сменялись на Clockwork Times. Боролся не только за честь клуба, но и за чистоту славянской крови, интересы нации, правильные смыслы. Резко невзлюбил неформалов, мигрантов, «ботаников» и прочих не-своих. Через пару месяцев на моих глазах неслабо получил пизды на концерте Элизиума в драке фанатов с «говнарями», но и не подумал «отходить». Позже получил условный срок за то, что с друзьями-ультрас отбирал телефоны на районе в ночное время, а потом этот срок из условного стал реальным. И вот уже его дальнейшие взгляды формируются в обстановке «несвободы» и противостояния обстоятельствам. А его девушка, та самая из клипа, стала в итоге порно-актрисой, но это ладно.

А есть, например, Вадим Брайдов, которого тогда все знали как «Воланда». Был одним из активистов антифа-движения, увлекался французским скримо и в целом отличался своими прогрессивными взглядами. Так вот он своих убеждений с юношеских лет

не менял, и не так давно я был рад увидеть его фотографии в журнале «moloко plus», в «Таких делах» и, если не ошибаюсь, в «Автономе» тоже. Делает репортажи о политических событиях, заключённых, жертвах насилия, детях-сиротах. Так из молодых антифашистов, первое время сливающихся с массой на волне общего интереса к субкультурам, вырастают настоящие политические активисты, журналисты, правозащитники, полноценные участники левого движения. Причём скорее не за счёт своих чётко маркированных политических взглядов, а за счёт неравнодушия, вдумчивого и внимательного отношения к тому, что происходит вокруг.

А с музыкой это всё переплеталось удивительным образом. Кто-то утверждал, что музыка нацистов — это «ска», а музыка, например, анархистов — это «панк», а вот скинхэды слушают, скажем, «ой», я не говорю про надписи мелом «рэп — это кал», претензии слушателей Муцураева за балахон с условным Slipknot и т.д. Но на самом деле всё это смешно — в Великобритании похожие процессы происходили ещё в семидесятых, но там «скинхэд» совсем не означало нацист, и как раз ой и панк слушали и анархисты, и скинхэды, и футбольные фанаты. И все организовывали свои группы, альянсы, дрались и резали друг друга, жанры и поджанры множилось, как фракталы, и было уже не разобрать, режут тебя за политические убеждения или за нескрываемую любовь к группе The Exploited. Бывало, что на концертах скинхэды и панки плечом

к плечу дрались с полицией, кричали антиправительственные лозунги.

Музыкальные жанры переживали расцвет и упадок, а левое и правое движение продолжали своё противостояние, в котором так до сих пор и непонятно, кто победил. А у нас в двухтысячных всё ещё наци слушали тех же CWT, бегали за таджиками и пересматривали «Ромпер Стомпер» пополам с «Хулиганами Зелёной улицы». При этом уже давно по всему миру были известны такие группы, как, например, SKA-P, которые имели (и имеют) ярко выраженные левые взгляды и писали острополитические тексты, не разделяя своих слушателей на бонов, панков, хулсов и т.д. А бритоголовые парни из рабочих районов европейских столиц спокойно слушали и регги и, скажем, соул.

Ведь это странно, что, например, группу «Аркадий Коц» как бы должен слушать только рабочий класс или, скажем, «Панк-фракцию красных бригад» только леворадикалы. Это ведь совсем не так, и все это понимают. И кто только не слушает. Сейчас, когда есть доступ к любому контенту и никаких фильтров (казалось бы) нет, ситуация изменилась. Всё происходит более плавно — каждый слушает и делает, что хочет, а во всех противостояниях с разгромным счётом победил хип-хоп.

Помимо субкультурного аспекта, влияет окружение — друзья, семья. Можно вспомнить «Американскую историю X», где младший брат Дэнни последовал примеру старшего Дерек и стал ультраправым. Когда Дерек возвращается после отсидки за убийство, изменив

свои взгляды, он убеждает Дэнни, что хорошие и плохие люди встречаются и среди чёрных, и среди белых. Но к тому моменту уже слишком поздно — на следующий день Дэнни погибает от руки чернокожего, с которым у них был давний конфликт. Иногда в дело вмешивается любовь, как в уже упомянутом «Ромпер Стомпер», или травмирующие обстоятельства, как в случае с мальчиком-скинхедом из сериала «Школа» Гай Германики, который, оказавшись после драки в больнице, понимает, что должен нести ответственность за брата, помогать родителям, и, в конце концов, отказывается от радикальной позиции, разрывая контакты с нацистами и возвращаясь к «спокойной жизни».

Но вернёмся к российской действительности. Кто-то всё же шёл дальше, с возрастом всё больше концентрируясь на политическом аспекте. Такие люди, как Петя Косово (его книга «Исход» — один из основных источников сведений о жизни и образе мысли московских антифашистов), Игорь Харченко или отбывший срок по «болотному» делу Алексей Гаскаров, которому принадлежат слова:

«Наше поколение стало проявлять интерес к политике в тот момент, когда в Москве взрывались дома и начиналась Вторая чеченская война. Тогда при молчаливом согласии большинства происходили куда более страшные вещи, чем нечестные выборы.

Люди из девяностых становились политиками и бизнесменами или шли работать в милицию. Нам же на фоне всего этого предлагалось бегать за мигрантами и "зиговать"».

Т.е. власть и бизнес создают границы и условия (тепличные, искусственные) для выстраивания политической идентичности всех тех, кто условно ниже в иерархии, определяя, как и чему нам противостоять. Причём предлагаются для этого бесконечно узкие, локальные стратегии. Однако при должном уровне осознанности политические взгляды, как раз наоборот, формируются по глубоким внутренним мотивам, на основе собственных представлений о добре и зле, собственной системы ценностей и парадигмы восприятия. Как говорит тот же Гаскаров:

Люди, получившие уроки насилия, опыт неволи и смертельного риска, рано потерявшие близких друзей, имеют свое отношение к сложившейся реальности с четким разделением добра и зла.

При этом здесь всё сложнее становится говорить о «левом» и «правом» — люди просто стоят за свои убеждения, не важно, как они маркируются. Та же резонансная история с химкинским лесом — да, вели колонну анархисты, съехавшиеся в область после панк-концерта, но ведь администрация Химок ущемляла своими действиями не только их права, это общая проблема. И как говорит один из организаторов акции, уже упомянутый Петя Косово: «Обстановка была напряжена до предела, всем было очевидно, что на наших глазах созревает какой-то фрукт абсолютного зла, не сорвать который было бы непостижимым упущением». Речь идёт действительно ско-

рее о добре и зле, сколь субъективными бы ни были эти понятия. Ты борешься за права людей, за уважение со стороны власти, против произвола, воровства, насилия, за сохранение леса, экологии — какая разница, какого цвета у тебя шнурки?

«На самом деле никаких экстремистов, которые сознательно «раскачивают лодку» и разжигают рознь к социальным группам «власть» и «сотрудники полиции», не существует.

Существует множество разных проблем, связанных с отсутствием обратной связи между населением и теми, кто принимает решения. В России долгое время сознательно сужалось легальное поле для тех, кто не согласен с проводящейся в стране политикой. На митинги никто и никогда не реагировал, ходить на них было абсолютно бессмысленно, их участники и их требования маргинализировались. И что же оставалось делать, когда возникало ощущение, что «дальше терпеть невозможно»? Жители Пикалево и Междуреченска, обманутые монетизацией льгот пенсионеры, даже то же население Кондопоги — все эти очень разные группы интуитивно понимали, что письмо президенту, сбор подписей или шествие вряд ли помогут решить их проблемы. Сама власть давала очевидные сигналы, что не готова разговаривать до тех пор, пока люди не перекроют трассу или сделают что-то подобное». (А. Гаскаров)

Мы не говорим здесь о примерах реального физического противостояния тех же фа и антифа со стрельбой и т.д. Хотя там тоже с определённого времени политики всё меньше:

«Вероятно, кто-то из химкинской администрации позвонил в Москву и попросил неформальное силовое подкрепление.

В ответ были присланы фанаты из «Гладиаторс». Именно они разогнали лагерь экологов. На следующий день после их нападения наши ребята выехали в лес и там встретились с этими людьми. Это было 26 июля 2010 года, за два дня до нашей акции в Химках. Наши силы с нацистами оказались примерно равны, и потому их лидер решил начать с нами какие-то переговоры. Он обратился к ребятам с замечательной речью. «Ребята, посмотрите на меня. Я старше вас. Вы все должны вырасти. У каждого должна быть „крыша“. Нам наплевать на политику... Нам платят, и все. И в результате у нас все нормально. Вам тоже нужно все делать за деньги. Все должно быть „по-взрослому“, с оплатой. Что же вы этого не понимаете?» *(Петя Косово)*

То же самое с другими представителями левого движения — например, с так называемыми анархо-экологами «Хранители радуги» (о которых мы не так давно говорили с «Гринпис»). Да, в большинстве своём это ребята с нашивками в форме буквы «А» или пацифика, длинноволосые маргиналы, завсегда подвальных рок-клубов с плохим звуком и дешёвым пивом, но они стоят за экологию, против постройки вредных предприятий. И дело не в их «левизне», а в том, что это, с их точки зрения, просто по-человечески плохо и неправильно. И борются они не с «правизной», а с конкретными вещами — с выбросами химикатов и вырубкой лесов. Насколько это правильно, можно рассуждать с позиции рациональных аргументов, научных фактов, мнений экспертов из данной области, но не политики.

Или последний пример из мира спорта — выходка ультраправых фанатов «Лацио». Разве это проблема только левого крыла? Речь идёт о чём-то гораздо более широком и серьёзном — об отсутствии осознанности,

непринятии базовых вещей, касающихся человеческого сосуществования.

То же самое с условными правыми — там далеко не всегда всё радикально и не заслуживает понимания. У меня есть коллега по работе, Саша — он жил в Киеве до переворота, жил тихо-мирно с женой и ребёнком, работал, планировал, мечтал. В результате событий 2013–2014 года потерял всё, вынужденно переехал в Мурманск, строит жизнь заново. Ругает либералов и любой протест встречает вопросом: «что вы предлагаете взамен?». Говорит, что, когда был молодым, был рад не соглашаться и действовать радикально, но сейчас во всём ценит осмысленность и задаёт вопросы. Готов идти на компромисс, если у собеседника есть аргументы, если он понимает, за что выступает. Но любые революционные действия готов гасить со всей возможной жестокостью — не хочет повторения того, что произошло на родине. При этом ценит демократические принципы, поддерживает Навального как автора расследований (и резко негативно относится к нему как к кандидату в президенты). Адекватный человек, приятный в общении и реализующий на практике кропотливый тезис о взаимопомощи чаще, чем иные левые. Но повторяюсь, если начнут жечь покрышки и громить администрацию — бросит все силы на погашение конфликта, причём в сторону действующей власти. Как его можно маркировать в политическом поле? Имеет ли это хоть какое-то значение? Хотя, возможно, в этом случае как раз имеет.

Есть и радикальные варианты, о которых я уже упоминал. Тот же Петя Косово и сотоварищи не дают нацистам шанса на понимание и с должным пафосом во главу угла всегда ставят свою «левизну» и бескомпромиссность:

«С того момента, когда посадили Лимонова и когда все нацистские группировки стали действовать под контролем власти, в России не было ни одного уличного молодежного движения, которое бы играло какую бы то ни было роль. Тем более в России не было подобного уличного движения левого толка. Наше движение развивается по нарастающей. В России до нас не было никакой внятной левой позиции на улице, которая была бы рассказана обычным, а не академическим языком. НБП тогда по своей идеологии была некой эстетической клоунадой. Нацисты — «деревня», сборище малообразованных людей. Нам впервые удалось нащупать на экзистенциальном уровне, на уровне чутья те странные слова, которыми можно было бы описать отношение левых к современной жизни. Власти реагируют на это адекватно».

Хотя в целом по поводу антифа я бы, наверное, согласился с Игорем Гулиным:

«Анархисты и антифа больше не воспринимаются как герои-маргиналы, подвиги которых притягивают, но остаются далеко. Скорее видишь в них испытателей, первыми осваивающих непривычную жизнь-в-противостоянии — ту, что сейчас становится естественной для гораздо большей части общества».

К слову, НБП — действительно яркий пример. Вроде национал-большевики, дугинская риторика,

коричневый цвет, но всё, что происходило вокруг — абсолютно «левая» история: Летов, Курёхин, панк-сейшены в бункере, зАиБи, ДвУРАК, марксист Цветков, по-прежнему один из самых активных контркультуртрегеров. Собственно, сами нацболы говорят, что НБП *является партией радикального антицентризма, «абсолютно „правой“ и бесконечно „левой“» одновременно.*

Ещё один пример — экзистенциальный панк девяностых, о котором мы также писали — эти люди, по сути, в своё время пере придумали андеграунд. Прийти к успеху для них значило «обуржуиться», проиграть. Но с годами один за другим участники тусовки уходили в семейную жизнь, организовывали бизнес, условно изменяя «левым» идеям, хотя *вроде он не предатель, он по-своему прав.* И был в той тусовке один человек, которого так и называли — «Спонсор». Он зарабатывал, у него всегда были деньги, что, казалось бы, неправильно, но тем не менее он оставался своим, так как спонсировал пьянки и ничего не просил взамен. Это довольно частая история в левых тусовках, которая всю «левизну» немного ставит под сомнение. И ведь ничего страшного, просто тогда, возможно, не стоит ничего никак маркировать. Это всё довольно вульгарные вопросы: «Если они не платят сами, то почему кто-то должен платить за них? Если они не работают, то почему кто-то должен работать за них?». И ответы здесь в каждом случае разные. И в общем-то, всё это не так важно.

Важнее понимать, почему я делаю то и не делаю это, что я думаю в этот момент, что я чувствую? Ответы на такие вопросы гораздо важнее общих правил, диктуемых той или иной фракцией. И дальше ты уже выберешь ту, которая подходит. А если не найдёшь, то создашь свою. Или вот в партию мёртвых никогда не поздно вступить.

Кирилл Александров

И когда она возникает, как подозрение,
между столами
студенческих столовых,
с ней здороваются
восемнадцатилетние активисты марксистских кружков,
и румынские музыканты улыбаются
и прячут револьверы
и яблоки
глубоко в карманы.
А, говорит, вы все еще здесь,
с вами до сих пор ничего не случилось,
вы, как и раньше,
преследуете солнце,
взбираясь на радиовышки и
прогоняя его за город,
и сбиваете его с неба камнями,
собранными на побережье.

С. Жадан

Рассказ очевидца о событиях в Турецком Курдистане, репрессиях за критику правительства и РПК (Рабочая Партия Курдистана, в Турции признана террористической).

— Наверное, придется отменять свадебный автобус,— печально замечает Махмуд. Уже месяц семья Махмуда пытается выдать замуж свою младшую дочь. Каждый раз свадьба интригующе откладывается. Каждый раз ресторан готовится разместить многочисленных родственников на церемонии, каждый раз жених решительно просит руки и сердца, а невеста, не дрогнув, отвечает «да». И всё же свадебный автобус из турецкой столицы Анкары в курдскую «столицу» Диярбакыр не едет.

Сначала полиция внезапно арестовала мэров Диярбакыра. Горожане запротестовали. Протест моментально подавили, а одного из мэров даже посадили в тюремный блок с террористами Аль Каиды. Свадебного настроения как не бывало.

Начались репрессии. Турецкие власти направили на восток еще больше бронетехники и перекрыли въезды в курдские города. Никого не впускали и не выпускали. Тогда свадебный автобус развернули в первый раз.

На всех трассах образовалось в три-четыре раза больше блокпостов. В горы начала подтягиваться турецкая армия. Потом в Диярбакыре прогремел взрыв. Один, второй, третий... Учитывая концентрацию полицейских на квадратный километр в городе, даже неудивительно, что один из взрывов разрушил часть полицейского участка.

Турецкое правительство не стерпело и тут же арестовало нескольких депутатов парламентской курдской партии ДПН (Демократическая партия народов или HDP — *прим. ред.*), до сих пор не замеченной ни в какой противозаконной деятельности. На территории всей страны перестал работать Facebook, Skype и еще множество других неожиданно ставших опасными сайтов. Рейсы на восток были приостановлены. На последнем рейсе расстроенный Махмуд улетел в Диярбакыр, пообещав своим товарищам обязательно доложить о ситуации в городе. За время полета отключили мобильную связь. Позвонить в Диярбакыр теперь было невозможно.

Утром следующего дня некоторые недовольные граждане вышли на улицы. В Анкаре предприняли попытку протестовать в университете и у офиса партии ДПН. И там, и там полиции было в несколько раз больше, чем протестующих. Рассредоточенность и откровенная нехватка протестующих вынудила полицейских с недоверием поглядывать на всех случайных прохожих.

На странице диярбакырского муниципалитета («Конгресса демократического общества» — *прим. ред.*)

в Википедии появилась выписка из хроники 2016 года: «Управлением безопасности по борьбе с терроризмом из здания были изъяты плакаты».

В это время перепуганные товарищи Махмуда начали собираться у одного из его друзей на квартире. Хозяин Рубар, друг Махмуда, худощавый студент-инженер в очках, как у Гарри Поттера, хлопчет на кухне и без конца разливает по стаканам чай. К вечеру в гостиной Рубара образовывается внушительная курдская диаспора и ей сочувствующие. Все возмущены и подавлены, но не оставляют такого привычного в Турции фатализма.

— То, что вы видите сейчас здесь, в Анкаре, уже давно в Диярбакыре. Все эти танки и бронированные машины появились на востоке Турции гораздо раньше попытки переворота.

— И на протест сейчас никто не пойдет.

— О! Вы, кстати, идите на протест,— вдруг вспоминает Рубар о нас.— Мы-то не можем. Я уже отсидел три месяца в тюрьме после одного протеста — якобы за связи с РПК (Рабочая Партия Курдистана, признанная в Турции террористической,— *прим. ред.*)

Подозрение в связи с РПК — самое распространенное основание для ареста. Даже произношение названия партии (РКК: «Пе Ка Ка» — турецкий, «Пе Ке Ка» — курманджи) на курдский лад — уже повод для задержания. В Измире нам рассказали историю про польского путешественника, который писал путевые заметки. По пути на восток Турции военные

обнаружили заметки. Несколько часов они пытались перевести польский на турецкий, но не смогли. В итоге путешественнику повезло: его депортировали, обвинив в попытке передать письменный приказ РПК курдским повстанцам.

Медленно и негласно на всей территории Турции идет процесс по увольнению учителей и профессоров. Раньше увольняли только курдов и алевитов, теперь всех, кто каким-то образом критикует правительство. Чаще всего профессоров сдают сами студенты, записывая на диктофон лекции.

Такая паранойя кажется странной, немного антиутопической. Поначалу не очень-то верится, что 1984 год уже наступил. Сложно привыкнуть к тому, что за одним протестующим по улице могут бежать несколько полицейских с автоматами на перевес. И, конечно, неожиданно, когда тебя обступает толпа военных за фотографию детей на фоне школы, которая находится напротив очередного полицейского участка.

Через полчаса после прибытия в Диярбакыр нас уже обыскивали. Около десятка грузных полицейских в штатском перетряхивали наши вещи, изучали фотографии на всех устройствах и проверяли паспорта. Самый молодой из них просмотрел все страницы моего паспорта на свет, а другой, чуть постарше, раскрутил и обнюхал трость моего товарища. Переспросив в десятый раз имя и год рождения, они, напряженно шурясь, произнесли как бы между прочим: «РПК? ДПН?». Инстинкт самосохранения срабатывал моментально.

На память сразу же пришли советы друзей: «На все вопросы о политике молча удивляйтесь. Притворяйтесь идиотами. Искренне недоумевайте и всё отрицайте».

Скоро нас отпустили, сказав: «Проблем нет, хорошего дня». На ватных ногах мы пошли вдоль улиц, упичканных бронетехникой. Старательно огибая взглядом толпу в камуфляже и решетчатые грузовики с выглядывающими из них автоматами Калашникова, мы изо всех сил любовались зданиями, выстроенными взамен разрушенных. Через каждые десять метров случайный прохожий или посетитель кафе что-то говорил по рации, провожая нас взглядом. Воспитанные на голливудских фильмах про шпионов, мы вздрагивали, когда привычный шум улиц Ближнего востока заглушал гул военных самолетов в синем небе. Каждый знает, куда и зачем они летят — в горы, бомбить повстанцев.

Никто, разумеется, не верит в нашу сказку о заблудившихся туристах. Во взгляде каждого полицейского читается: «Как вы могли перепутать шезлонг в Анталье и Мордор?».

Главная достопримечательность Диярбақыра — район Сюр. Уникальное культурное наследие, в числе которого даже армянская церковь, множество древних построек и мечетей — почти всё это перекрыто, опечатано и недоступно никому. Уже долгое время район частично оцеплен полицией. У местных есть два предположения. Первое — после боев с «гериллами» (курдские партизаны, поддерживающие РПК, — *прим. ред.*)

государство не успело восстановить разрушенные объекты, второе — в районе слишком много катакомб и подземных тоннелей, где члены РПК могут прятаться и атаковать полицию и военных.

«РПК — это люди. Во всём турецком Курдистане вы не найдете человека, у которого бы не было члена семьи, или друга, или однокурсника, или сослуживца, или кого угодно, состоящего в РПК. Именно поэтому государство так боится РПК», — говорит наш новый друг Фахир, практикант Министерства юстиции и заботливый хозяин. Во время нашего пребывания в Диярбакыре Фахир делал всё, чтобы мы не выглядели в глазах полиции желающими присоединиться к РПК.

«Как-то раз в мою машину врезалось такси. Я позвонил в полицию, а они отказались приехать. Здесь это обычное дело. Если кто-то звонит в полицию, наверняка это могут быть члены РПК: сообщают о каком-нибудь инциденте и поджидают полицию с самодельными взрывными устройствами, — объясняет Фахир, — поэтому полиция так тщательно огораживает себя от людей, оцепляя целые улицы перед каждым участком. Если поступает вызов, как правило, они выезжают по три-четыре машины сразу — и все с автоматами».

От главной мечети города разрастаются темные улочки. На таких, будь мы в где-нибудь в Италии, можно было бы встретить секс-работников, наркоманов, разорвать кроссовки о разбросанные шприцы. «Эй, расслабьтесь! Здесь мы в безопасности, — неожиданно

повеселевший Фахир улыбается и продолжает нас успокаивать. — Сюда полиция никогда не заходит — боится. Здесь РПК легко может спрятаться и атаковать».

С наступлением вечера город неожиданно и стремительно пустеет. Посетители местных забегаловок прощаются друг с другом и расходятся. Официанты быстро собирают со столиков мокрые от чая газеты, разложенные вместо скатертей. На газетах черно-белые портреты улыбающихся молодых парней и девушек — «герилл», недавно погибших в боях. «После захода солнца лучше не гулять. Улицы патрулируют менты в штатском и им не нужно много причин, чтобы открыть огонь в случае чего», — Фахир встает, показывает жестом, что надо идти и набирает маме. «Видишь этих копов справа?», — шепчет Фахир, не поворачивая головы, прижимая телефон к уху. За соседним столиком справа двое мужчин, допив свой чай, скручивали самокрутки. «Это беженцы из Сирии. Они ни слова не знают ни по-турецки, ни по-курдски. Они просто шмонают молча и сами отходят, когда закончат. Так что пойдём поскорее».

Дмитрий Бездомный



Художник из группы {родина}, поэт и философ Максим Евстропов анализирует положение и деятельность основанной им партии мёртвых в контексте оппозиции правого и левого при участии редакторов «Стенограммы».

Этот текст носит тезисный характер, и говорить я буду общими формулами, приближающимися к лозунгам (как у Беньямина об эстетизации политики или политизации эстетики, например). Общие формулы уязвимы для критики, часто вредны и ложны даже для самих себя — тем не менее, в них есть что-то завораживающее.

1. Правое и левое в политике — вообще и сейчас

Как кажется, границы между «левым» и «правым» в политике давно уже стали зыбкими, «левое» и «правое» продолжают терять свою определённость и образуют гибриды — тем не менее, не перемешиваясь до конца. Так, НБП в 90-е годы была как раз гибридным проектом подобного рода, пытавшимся соединить крайности «правого» и «левого» в оппозиции к либеральному «центру», хотя на деле у этой партии был скорее правый уклон, и в этом отношении проект

можно считать неудачным. Впрочем, любой гибридный политический проект будет скорее правым.

Несмотря на прогрессирующую утрату определённости «правой» и «левой» позиций, в них всё же остаётся что-то вроде самых общих определяющих тенденций. Правую политику я обозначил бы как политику идентичности, связанную с идеей превосходства, а левую — как политику освобождения, связанную с идеей равенства. Задача левых — дать слово исключённым, задача правых — поддерживать исключение. (В общем, как это ни смешно, определённость «правого» и «левого» в политике до сих пор связана с мифологическим содержанием этой глубоко архаичной оппозиции.)

При этом, конечно же, реальная политика идентифицирующих себя как «левых» не обязательно будет левой (политика правых в этом плане в целом больше соответствует их декларациям). Реальные левые, особенно у нас — по большей части какой-то ностальгический фарс, реконструкторство, в них во всех есть что-то от КПРФ. Недавно меня поразила одна история: питерские коммунисты, отмечая столетие революции, повторили жест пятидесятилетней давности и тоже, как комсомольцы 67-го, отправили послание в будущее. Правда, это была уже не герметичная капсула, закапываемая под землю — они просто положили бумажку во флягу и кинули её в мутные воды Невы. Не знаю, отдавали ли они себе отчёт в том, что это заведомо было послание в никуда, в пустоту, а не в будущее — которое они сами не видят и которое им скорее всего вовсе и не нужно.

Реальные правые сейчас, в общем-то, тоже существуют преимущественно в игровом модусе. Для всяких там монархистов, националистов, фашистов и даже религиозных фундаменталистов главное — это цацки. А какие-нибудь альт-райты — это просто материализовавшиеся тролли. Да и вообще политические идентичности (партии, например) давно уже стали достоянием области, утратившей связь с реальностью. В России, как мне представляется, не существует уже ни одной реальной партии («единая Россия», например, просто симулякр, пустая форма «единства»). Многие любят говорить о том, что современность — это время без идеологий, но я бы лучше сказал, что это время чистой и совершенно бессодержательной идеологии, «извращённого» сознания без референта (т.е. даже без того деформирующего интереса, который можно было бы критически распознать). К примеру, зачем весь этот долбоёбский проект «Новороссия»? Можно пытаться выявить какой-то доминирующий тут интерес, говорить о влечении к смерти, наконец — но это ничего не объяснит и не прояснит, потому что в основе этого проекта бессодержательная форма идеологии, вернее — попытка реконструкции некой идеологии вообще. При этом у этой попытки есть танки и кое-какие инвестиции. Современность — это скорее время без политики, вернее — время реалполитики, лишённой какого-либо реального политического интереса.

2. Отношение правых и левых к смерти

Тем не менее вернёмся к левому и правому как политическим позициям и попробуем разобраться, каково их отношение к смерти. С правым уклоном в политике традиционно ассоциируется разного рода некрофилия и зачарованность смертью. Фашистская или патриотическая некрофилия при этом может истолковываться как влечение к безголовой матери — первичному телу слияния, сулящему потерю индивидуальности и стихийное наслаждение. Однако дионисическая стихия — это скорее катастрофа для правого, то, что подлежит обузданию и сдерживанию. Для правой позиции свойственно скорее симпатическое отношение к смерти — стремление стать смертью, то есть садистическое желание выместить её хаос, исключить смерть и самому выступить силой-насилием. Как бы то ни было, правые часто подкупают этой своей туманной близостью к смерти (которая, впрочем, не делает к ней ближе ни их, ни кого-либо ещё — ближе, чем все и так уже есть). Власть вообще прельщает этой мнимой близостью к смерти — якобы тот, у кого больше власти, немного мертвее, чем другие. Гегель называет смерть «абсолютным господином» — стало быть, помещая живое самосознание по сю её сторону как абсолютного раба. Кожев пишет о «власти мёртвых» как об одной из составляющих такого комплексного явления, как власть вообще, и т.д.

Левый уклон в политике, на первый взгляд, связан скорее с противоположным полюсом отношения

к смерти — некрофобией. В лучшем случае левые демонстрируют такое отношение к смерти, которое можно назвать стоическим — плюют на смерть, действуют так, словно её нет, и она их не касается. Приведу ещё один пример, связанный с КПРФ: на похоронах одной старой коммунистки её пожилой товарищ пожелал ей и после смерти «оставаться такой же активной». Подобная позиция связана с надеждой на то, что смерти может когда-то не случиться — то есть опять же с исключением смерти. Такое отношение позволяет до конца сохранять достоинство, но во многом разочаровывает, так как исключает даже вполне естественный, «детский» интерес к смерти. Так на левом фланге дела обстоят в общем и целом, но бывают и исключения. В качестве примеров, условно говоря, левых интеллектуалов, не исключаяющих смерть, можно привести Мориса Бланшо и Андрея Платонова, сказавших о ней очень многое. У левых также свой пантеон мертвецов, и вообще, стихийные революционные движения часто бывают связаны со стихийной же некрофилией.

Таким образом, по обе стороны мы наблюдаем скорее коллизию некрофилии и некрофобии — правда, в несколько различающихся конфигурациях. И по обе стороны — исключение смерти (исключающее включение или включающее исключение). Если же отвлечься от конкретных исторических коннотаций «левого» и «правого» и толковать их как самые общие тенденции, то и в самом отношении к смерти можно —

с большой долей условности — выделить «правую» и «левую» стороны.

Героизм встречи со смертью как с невозможным, «моя смерть» как основа всех возможностей существования, подлинность моей смерти, которую невозможно засвидетельствовать, и которая обрекает на фундаментальное одиночество — это одна, «правая» сторона смерти (всё это обозначается как «собственное» бытие-к-смерти в экзистенциальной аналитике Хайдеггера — однако я характеризую это как «правое» в отношении к смерти отнюдь не потому, что Хайдеггер был правым, а потому что речь во всём этом идёт об идентичности и превосходстве). Другая, «левая», сторона в отношении к смерти — это твоя смерть или смерть другого, а также бедная и бесформенная мёртвая материя, прах и труп. Однако никакой прямой связи с «правым» и «левым» в реальной политике здесь, разумеется, нет.

3. Партия мёртвых: справа или слева?

Вопрос о политической ориентации партии мёртвых для меня самого остаётся проблематическим, хотя в общем и целом эта ориентация представляется мне левой. Бывали случаи, когда люди, так или иначе идентифицирующие себя как правые, усматривали в партии мёртвых что-то близкое для самих себя. Впрочем, это неудивительно, ведь партия мёртвых существует главным образом паразитически, в пародийном модусе. Сама идея этой партии появилась у меня в Томске — как

ответ на там же зародившееся движение «бессмертный полк», которое со временем всё правее и делается всё более некрофильским. Где-то в районе очередного дня победы я придумал сделать шествие с черепами на палочках. Это также пародия на «единую россию» («единая россия — мёртвая россия», как гласит один из лозунгов нашей партии). Мы также играемся с фашистско-платонической фигурой «Единого», при этом акцентируя его хтонические аспекты («единая мать зовёт», «земля у нас одна», «мёртвые вместе», и т.п.). И это «Единое» так или иначе оказывается исключительным («все мертвы, но некоторые мертвее»). Партия мёртвых — это также пародия на НБП. Само выражение «партия мёртвых», как я выяснил уже постфактум, встречается у нацболов, когда они говорят о своих мёртвых товарищах. Но героическому пафосу национал-большевистского «да, смерть!» мёртвые противопоставляют расплывающийся ужас своего «ну да, смерть».

Смерть и мёртвое в теоретической канве нашей партии предстают как множественное и исключённое. В партию мёртвых входят все мёртвые, поэтому наша партия — самая большая из когда-либо существовавших в мире. Партия мёртвых — партия абсолютного и подавляющего большинства, однако это большинство оказывается абсолютным же образом исключённым. Мёртвых постоянно пытаются использовать, при этом они сами совершенно никак не представлены в политическом поле, у них нет никакого голо-

са. Задача партии — дать им слово. Правда, проблема в том, что все мёртвые говорят постоянно и одновременно, и расслышать их голоса — всё равно, что расслышать звуки отдельных волн в шуме прибора.

Смерть — самое радикальное исключение, и мёртвые — образцовые исключённые. Они — то самое «инородное», что предельным образом сопротивляется своей интеграции в порядок (мёртвые говорят: интеграция — только через наш труп, через миллиарды наших трупов, от большинства которых не осталось уже ничего). В силу этого партия мёртвых выступает как обнажение парадигмы левой политики, как проговаривание того, что замалчивается и даже не мыслится самими же левыми — поскольку угрожает свести всё к абсурду. Пролетарии, о которых говорит и к которым обращается «Манифест коммунистической партии» — мёртвые при жизни, мёртвые для этого мира, и сам коммунизм как преодоление исключения обладает спектральным характером («Призрак бродит по европе...»).

И смерть — это также самое радикальное равенство. Для правых она — священный исток, для нас же — проблема. Задача партии мёртвых — дать голос этим совершенным и образцовым исключённым, причём исключённым как исключённым — в их предельной исключённости по ту сторону какой-либо идентичности. То есть в данном случае — без возможности воскрешения, без возможности стать их современником — и в каком-то смысле без возможности самому стать

таким же мёртвым. Поэтому, строго говоря, никакое представительство за мёртвых невозможно — ни один живой не годится на роль такого представителя. Нужно, чтобы мёртвые говорили сами. Но если эта заведомо невозможная задача не будет выполнена, вся наша политика так и останется политикой исключения.

Максим Евстропов.

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВ: Сразу вспоминается, конечно, Гражданская оборона:

*Давайте забудем все наши дела
Пусть трупы хоронят своих мертвецов
Давайте покинем пустые тела*

...и так далее. А что касается непосредственно темы обсуждения — особенно важным мне кажется вопрос, связанный как раз с исключением и наличием/отсутствием идентичности. Это ведь не только к смерти относится, но и ко многим другим вещам. И вопрос мой заключается в следующем — а есть ли вообще политика там, где нет идентичности? Там, где, грубо говоря, нечего отстаивать и не за что бороться?

И следом другой вопрос — а не является ли «мёртвость» как раз идентификатором, то есть так ли уж далеки мёртвые от идентичности, если, Максим, по твоим же словам, они как бы становятся субъектом права (или субъектом правды), их не устраивает спекуляция

памятью и ваша партия выступает против того, чтобы поступки мёртвых как-то маркировались и были приписаны тем или иным идеям, служили в качестве чьих-то политических аргументов и т.д. Если они не хотят быть использованными и готовы говорить сами, как бы осознавая себя мёртвыми (под ногами оглушительно трещит тонкий лёд пародии) — это ли не идентичность?

МАКСИМ ЕВСТРОПОВ: Политика идентичности и политика исключения — это, в принципе, одно и то же. И если мы надеемся на какое-то освобождение в области политического, то такая надежда может быть связана только с политикой по ту сторону идентичностей. Я пока не могу сказать, насколько и как именно такая политика возможна — как, например, грядущее сообщество «любых», о котором писал Джорджо Агамбен, или как-нибудь иначе. В любом случае такая политика остаётся сейчас задачей для всех тех сил, которые ратуют за освобождение. Задачей не менее сложной и странной, чем предоставить слово мёртвым, например.

ВЛАД ГАГИН: Я думаю, политика без идентичностей возможна. Собственно, это то, как мы можем политизировать все эти новые объектно-ориентированные онтологии: в ситуации нового материализма, когда субъект не просто «сужен» до желаемой машины, но и вообще признается просто какой-то белковой производной материи, «мы» можем признать, что «мы» — это не становящиеся субъекты, обладающие идентичностью, а такие же сборки объектов,

как пыль, слизь, растения, предметы обихода. Да, мы живые в том смысле, что существуем органически, но это не дает нам перед другими формами существования — умершими или никогда не жившими — никакого преимущества.

И здесь, как мне кажется, можно выделить три линии отношения к неживому: 1) ужас перед безразличным Ктулху, великим непознаваемым внешним; 2) попытка сложной политизации мертвого, живого и неживого, спекулятивные попытки приблизить Ктулху, пересобрать его, выйти с ним на связь; 3) спекуляция другого характера, симулякр связи, какая-то пустая символика в духе бессмертного полка, когда люди пытаются говорить за умерших с позиции их сегодняшних проблем, какой-то странной современной гордости и ненависти, которая может иметь мало общего с, например, реальными переживаниями воевавших предков.

Собственно, понятно, что мне лично ближе второй вариант — некоторая попытка бережно работать с (мертвым) прошлым. Конечно, эта попытка в той же степени спекулятивна, что и в случае третьего варианта, однако, как мне кажется, она предполагает ответственность, это немаловажно.

МЕ: Я думаю, что три эти линии отношения к неживому принципиально не отличаются друг от друга. В любом из этих отношений есть ужас перед внешним и непознаваемым «ктулху», любое из этих отношений будет иметь этическое измерение (хотя это не значит, что оно будет этически «правильным» — это означает

лишь неустранимое присутствие этического беспокойства), и, наконец, любое из этих отношений будет спекуляцией — поскольку остаётся нашим отношением к тому, с чем поддерживать отношения невозможно.

Но я за ответственный подход, конечно. Партия мёртвых — это, по сути, этико-политический проект, только лишь выдающий себя за художественный.

ИЛЬЯ СЕМЁНОВ: Я бы рассмотрел эту партию скорее не справа или слева, а с позиции атеизма и религиозного сознания. В этом смысле все получается очень странно. Если мы думаем, что сознание как фундамент личности — реализация биологических процессов, а значит подлежит разложению, то оказывается, что нет никаких мертвых — они стали цветами и торфом. Если же, наоборот, принцип сознания — это нечто родственное душе, то тут опять нет никаких мертвых, потому что они где-то живут и как-то себя ощущают. То есть партия мертвых — это партия пустоты, но не в некоем буддистском смысле, а смысле простой пустоты чашки, из которой уже выпили чай

МЕ: Для меня мёртвые — это проблема, но не атеизма и религиозного сознания (я атеист, кстати), а онтологии и этики. Представьте себе мёртвого человека: кто это или что это? Является ли труп просто спокойной вещью наподобие пустой чашки? С другой стороны, является ли труп тем же самым человеком? А помимо трупа ведь есть ещё тот самый мёртвый или та самая мёртвая, к которой, к которому вы мысленно обращаетесь, который или которая каким-то образом остаётся

и присутствует — в качестве призрака. Каким образом существует этот призрак? Является ли он или она только лишь вашим измышлением? Вся совокупность этих онтологических неопределённостей и неустойчивостей к тому же складывается во что-то наподобие формулы: всякий прах несёт в себе призрак, всякий призрак предполагает какой-то прах. А любая культура, кстати, перенаселена призраками, наш язык — это кладбище, могила у нас в голове и т.д.

И мёртвые также остаются этической проблемой: надо что-то делать с ними или для них, но непонятно что. Можно отвергать какие-нибудь религиозные или метафизические спекуляции насчёт жизни после смерти и т.п., но сама этическая проблема от этого не перестаёт быть проблемой. Николай Фёдоров называл это «виной» перед умершими. Для меня, наверное, идея вины слишком здесь теологическая и христианская, но действительно, суть этой проблемы в том, что живые — это какая-то хуйня перед мёртвыми.

ИС: По поводу того, что живые — это какая-то хуйня по сравнению с мертвыми, есть прекрасная книжка Дугласа Коупленда «Рабы Майкрософта», где у главного героя в детстве погиб брат, и он в своих размышлениях артикулирует эту формулу *«что бы я ни сделал, мне все равно никогда было не победить (или стать лучше — цитата не слишком точная) моего мертвого братика»*. Мне кажется, партия Мертвых имеет в виду нечто подобное: мертвые непобедимы, потому что их нет.

КА: По поводу политики ухода от идентичности — мы вот всё грезим о киборгах. В каком-то смысле это, наверное, тоже некро-уклон, но всё же концептуально это нечто иное.

А если всё же к изначальной теме возвращаться, то получается интересно — мы говорим, что мёртвые не слева и не справа и вообще не идентифицированы (пока), но при этом можем говорить о том, кто ближе к мёртвым — правые или левые, чему посвящена вторая часть твоего, Максим, текста. И исходя из этой логики я, пожалуй, задам вопрос — видит ли партия мёртвых какую-то из действующих (или воображаемых) политических сил своими, если можно так выразиться, союзниками?

МЕ: Ну, во-первых, к мёртвым никто не ближе, или все одинаково близки — в тексте, кажется, даже есть что-то на этот счёт. А партия мёртвых мне видится левой, поскольку в борьбе с идентичностями и исключениями вообще как раз и состоит левый уклон. Партия мёртвых для меня просто обнажает логику левого уклона в её самом безумном виде. Среди возможных политических союзников мёртвых мне видятся разные ползучие анархисты, а также этически мотивированные политические движения, ведущие борьбу с исключением (феминизм, эко-активизм и т.п.).

ВГ: Хочу отметить, что для меня идентичность не всегда связана с исключением. Иногда, напротив, — с освобождением. Так, феминизм часто утверждает и конструирует женскую идентичность, что, может,

и не соответствует моим личным представлениям о постгендерном квир-рае, однако в текущий исторический момент кажется необходимым и, возможно, приближающим квир-рай (или лучше квир-лимб).

МЕ: Естественно, в случае «партии мёртвых» речь не идёт о том, чтобы взять и сразу отринуть все возможные идентичности. Мёртвые — это, конечно же, идентичность, но идентичность негативная, идентичность против идентичности — как, например, идентичность пролетария у Маркса (пролетариат — это класс, но класс, наделённый исторической миссией уничтожения классового общества). Эту идентичность можно использовать как оружие — когда кто-нибудь заявляет какие-нибудь исключительные права на мёртвых, пытается говорить от их лица (но для этого тоже нужно говорить от их лица!).

И я как раз тоже подумал про феминизм, в котором есть и конструирование альтернативных идентичностей, и отказ от идентичности как таковой. Мне представляется очень значимым это диалектическое напряжение между радикальным и квир-феминизмом.

КА: Собственно, у меня осталась последняя, наверное, реплика. Помимо действительно напрашивающейся ассоциации с феминизмом, я подумал о номадах, пустынных бродягах, которые исключенности и не-идентичности как раз добиваются, видя в ней освобождение (путь к истине, к космосу, к Богу, к пустоте). Какие-нибудь индийские садху — вот кто по-настоящему близок к мёртвым, в том числе чисто

биологически, религиозный аспект мы здесь не учитываем.

При этом в итоге такие практики, как правило, всё равно приводят к конструированию идентичности — идентичности бродяги, аутсайдера, появляются особые атрибуты исключённого, статус. Как и в случае с мёртвыми. Но вот в чём вопрос: а так ли плохо, что они исключены и они ли исключены на самом деле? Ведь если мы говорим, что живые по сравнению с ними — какая-то хуйня (и я с этим согласен), и мудрецы стремятся также в пустоту, в не-идентичность (не помню, кто сказал, что самый мудрый человек — это мёртвый человек), то можем ли мы вести с ними диалог в одном поле?

Может, это они, свободные, исключают нас, мечущихся в поисках места, призвания, совпадения с самим собой, и нам в пору не пытаться дать им голос, а наоборот, посмотреть снизу-вверх (а не как обычно), обидеться и дальше грустно довольствоваться конструированием смыслов над смыслами?

МЕ: В процессе существования любого трупа наступает момент, когда мёртвая или мёртвый предстаёт перед нами как что-то возвышенное, трансцендентное, исполнившее своё предназначение и обрётшее своё место — по сравнению с никогда не совпадающими с собой живыми. В этом пресловутая власть мёртвых, матерей и отцов. Мёртвые умиротворяют, их красота делается ослепительной. Но я верю в то, что задача партии мёртвых состоит в том, чтобы сокрушить и этот

авторитет (равно как и всякую власть вообще). Надо просто не забывать о том, что этот авторитет маскирует ужас перед тем, что вообще не имеет ни места, ни имени, и возвышенные лики призраков опираются на гниение и распад (потому что призрак предполагает труп, а труп всегда обитаем призраками). Мёртвые же никого не исключают. Так, во всяком случае, они говорят. Чья-то смерть размыкает пространство диалога, в том числе и этой нашей с вами беседы. Так что мы всегда говорим с мёртвыми в одном поле (я бы даже сказал, в одном лице). Когда собираются двое или трое — там и труп посреди них.

*Максим Евстропов,
Кирилл Александров, Влад Гагин, Илья Семёнов*